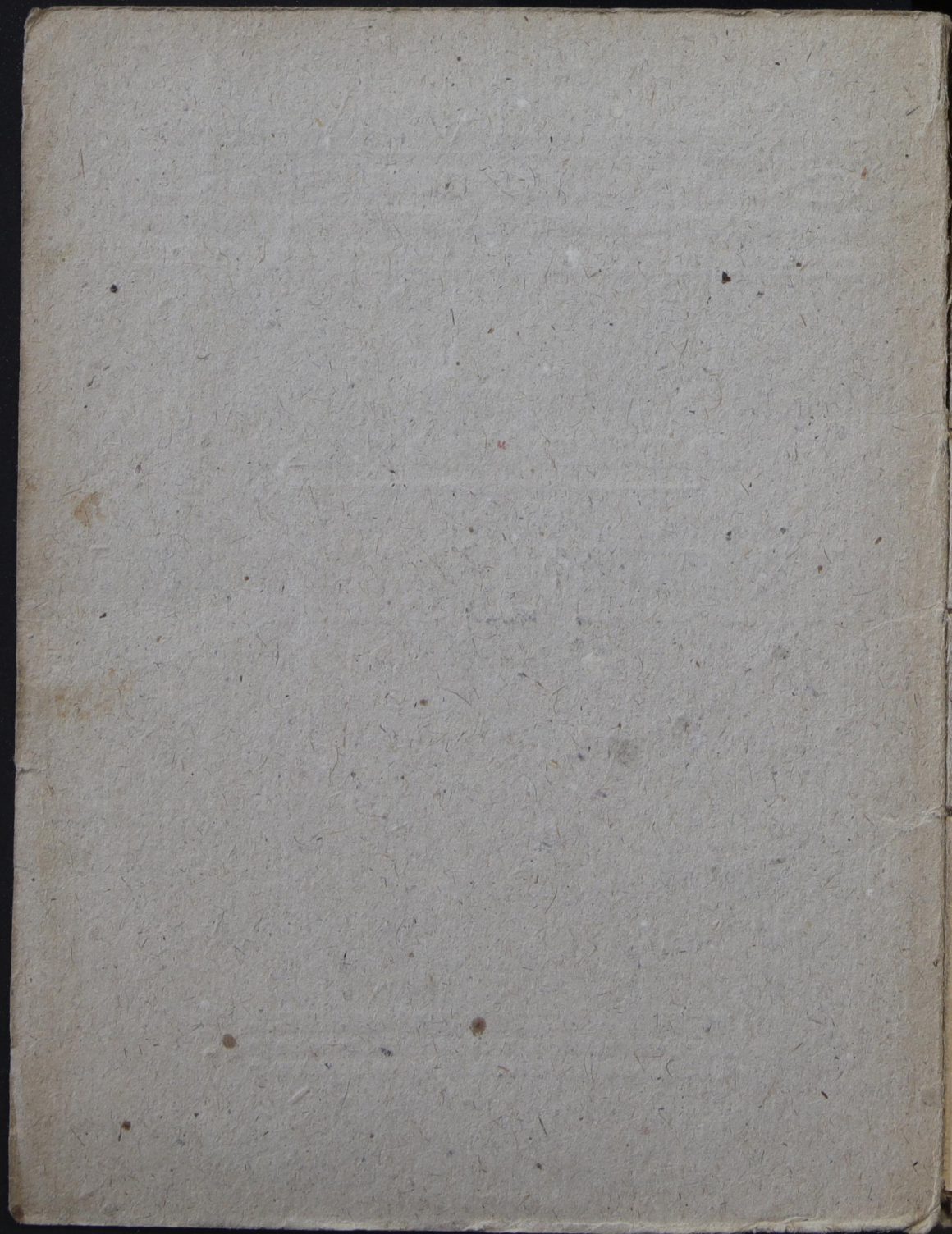

НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

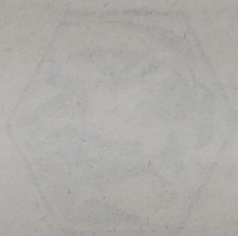
РЕНЭ МАРАН

БАТУАЛА

«ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





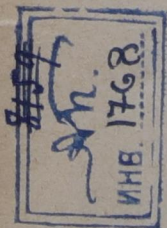
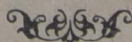


ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

РЕНЭ МАРАН
RENÉ MARAN

БАТУЛА

ПЕРЕВОД А. Я. БРЮСОВА



ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА. МСМХХІІ

141-5

Отпечатано 5.250 экз.
в Тип. Коминтерна
Р. Ц. № 2592 Петербург.

БАТУАЛА
BATOUALA

НЕГРИТЯНСКИЙ РОМАН

1921

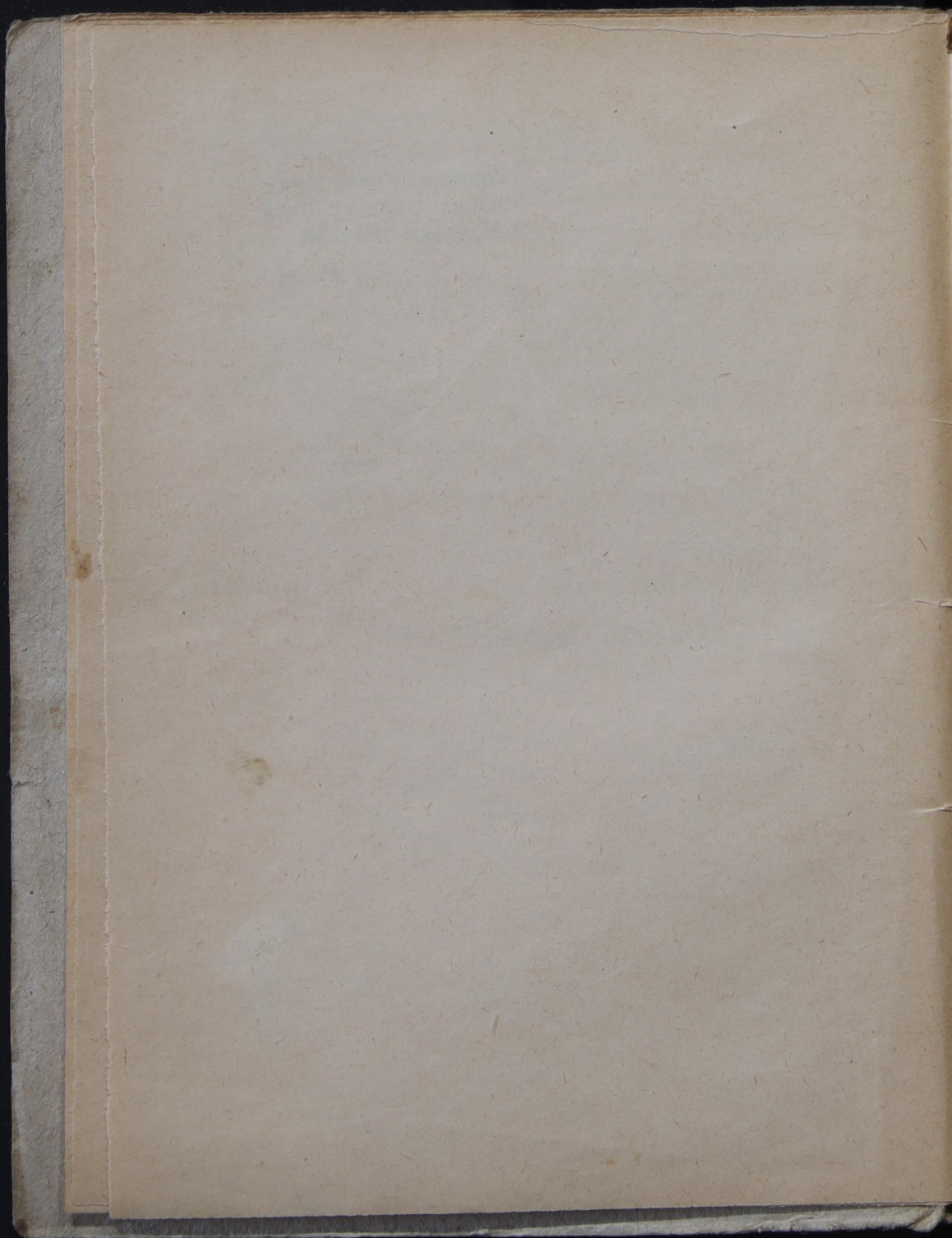
ALBERTA

1911

ALBERTA

*Посвящаю эту книгу
моему дорогому другу
Манозлю Гаисто.*

Р. М.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Анри де-Ренье, Жак Буланже,—вы крестные отцы этой книги. Я был бы неблагодарным человеком, если бы, на пороге этого предисловия, не признал всего, чем я обязан вашей благосклонности и вашим советам.

Вы знаете, как страстно я хотел бы успеха этому роману. По правде сказать, этот труд—только ряд офортов. Но я затратил на него шесть лет. Шесть лет потратил я на передачу того, что слышал, и на описание того, что видел.

В течение этих шести лет я ни разу не уступил искушению сказать свое собственное слово. Я довел объективность мышления до полного изгнания из него всех рассуждений, которые могли бы быть приписаны мне лично. Негры экваториальной Африки, действительно, не привыкли рассуждать. Лишенные критического сознания, они никогда не имели и не будут иметь рассудка. По крайней мере, так утверждают. Конечно, неверно. Ибо, если бы отсутствие рассудка было характерной чертой негра, то оказалось бы очень мало европейцев.

Итак, этот роман совершенно объективен. Он не пытается даже объяснять; он лишь констатирует. Он не возмущается; он лишь регистрирует. Иначе и быть не могло. В лунные вечера, растянувшись на своем шезлонге, я слушал с моей

веранды разговоры этих жалких людей. Их шутки доказывали их покорность. Они страдали, и страдания вызывали у них смех.

Ах, Брюэль! В неудобоваримой и ученой компиляции вы заявили, что население Убанги-Шари доходит до 1.350.000 жителей. Но вы не сказали, что в некоей маленькой деревушке Уам, в 1918 году, насчитывали только 1.080 жителей, вместо 10.000, которые вошли в перепись за семь лет до того. Вы говорили о богатствах этой громадной страны. Но почему вы не сообщили, что там царит голод?

Я понимаю. Что за дело Сириусу до того, что десять, двадцать и даже сто туземцев, в дни неопишемого бедствия, в помете лошадей, принадлежащих тем хищникам, которые выдают себя за благодетелей этих туземцев, искали непереваренных зерен кукурузы или проса, чтобы употребить их в пищу.

Прав был Монтескье, когда он писал на одной из страниц, где под холодной иронией дрожит сдержанное негодование: «Они—черны с ног до головы, и нос у них так приплюснут, что почти невозможно сожалеть их».

В конце концов, если они мрут с голода тысячами, как мухи, то доходность их страны увеличивается. Погибают только те, которые не умеют приспособиться к цивилизации.

Цивилизация, цивилизация, — гордость европейцев, — воздвигнутая на костях невинных людей! Индусский поэт Рабиндранат Тагор сказал однажды в Токио, что ты такое.

Ты строишь свое царство на трупах. Каковы бы ни были твои желания и действия, ты вечно пребываешь во лжи. При виде твоем подступают слезы и хочется кричать от боли. Ты сила, торжествующая над правом. Ты—не факел, а пожар. Ты поглощаешь все, к чему прикасаешься.

Вы, гордость страны, которая дала мне все; вы, мои братья во Франции, писатели всех партий; вы, которые часто спорите из-за пустяков, ссоритесь для забавы и внезапно примиряетесь всякий раз, как только надо защитить благородную и справедливую идею,—я призываю вас на помощь, потому что верю в ваше благородство.

В моей книге нет полемики. Она появилась случайно, в свой должный час. Негритянский вопрос—вопрос современный. Кто этого хотел? Американцы; газетные кампании по ту сторону Рейна; «*Romulus Coucou*» Поля Ребу; «*Le Visage de la Brousse*» Пьера Бонарди; «*L'Isolement*» бедного Комбета. Разве не ты, «Ева», маленькая любопытная женщина, когда ты, в начале этого года, выходила еще ежедневно, разве не ты производила анкету с целью узнать, может ли белая выйти замуж за негра?

С тех пор Жан Рено напечатал в «*La Revue*» статьи о применении черных войск. С тех пор доктор Юо посвятил им очерк в «*Le Mercure de France*». С тех пор «*Les Lettres*» рассказали об их мученичестве в Соединенных Штатах. И, наконец, во время одного запроса в палате депутатов, военный министр Андре Лефевр не побоялся сказать, что некоторые французские чиновники сочли себя вправе вести себя в отвоеванной Эльзас-Лотарингии так, как будто они находились во французском Конго.

Слова эти, произнесенные в таком месте,—многозначительны. Они доказывают, одновременно, и то, что все происходящее в этих далеких областях—известно, и то, что до сих пор не делалось попыток уничтожить царящие там злоупотребления, взяточничество и жестокости. Итак, «лучшими колонизаторами были не колонисты по профессии, а европейские войска в окопах». Так утверждает Диан.

Мои братья по духу, писатели Франции, это неприкрашенная правда. Вот почему пора вам показать, теперь же, что, ни под каким предлогом, вы не хотите, чтобы ваши соотечественники порочили народ, репутацию которого вы охраняете.

Поднимите свой голос. Вы должны помочь говорящим правду; вы должны сказать, что эта правда — не то, чего вы хотели бы. Позднее, когда будут очищены авгиевы конюшни колоний, я вам опишу некоторые из тех типов, наброски с которых я уже сделал, но еще храню в своих тетрадах. Я вам скажу, что в некоторых областях несчастные негры принуждены были продавать своих жен по цене от 25 до 75 франков за штуку. Я вам скажу... Но тогда я уже буду говорить от своего имени, а не за других; я изложу свои мысли, а не мысли других. И я заранее говорю, что европейцы, которых я отмечу, так трусливы, что ни один из них, я уверен в этом, не осмелится сделать ни малейшего опровержения по поводу моих слов.

Ибо, если бы было известно, из какой повседневной низости слагается широкая жизнь колоний, о ней говорили бы меньше, о ней не говорили бы совсем. Она развращает постепенно. Редко можно встретить, даже среди администрации, колонистов, которые развивали бы свой ум. Они не имеют силы противостоять среде. Они привыкают к алкоголю. До войны было много европейцев, которые были способны выпить в тридцать дней больше пятнадцати литров «черно». С тех пор, увы, я познакомился с одним таким, который побил все рекорды. Он выпивал за месяц двадцать четыре бутылки виски.

Эти позорные излишества досаждают тех, кто предается им, до самой отвратительной слабости. Этот позор должен беспокоить тех, кому поручено быть представите-

лями Франции. На них лежит ответственность за то зло, от которого в настоящее время страдают некоторые части черного материка. Пбо для того, чтобы эти люди получали чины, необходимо, чтобы «не было историй». Одержимые этой мыслью, они отреклись от всякой гордости, колебались, медлили, лгали и множили свою ложь. Они не хотели видеть. Они ничего не хотели слышать. У них не было смелости гсворить. И, добавляя к своей умственной анемии моральную астению; они, не чувствуя укоров совести, обманули свою родину.

Я призываю вас исправить все то, что администрация обозначает осторожным словом «старые порядки». Борьба будет упорной. Вам придется нападать на работорговцев. Вам будет труднее бороться с ними, чем с мельницами. Но задача ваша — прекрасна. За дело же, не откладывая! Франция требует этого.

Действие этого романа происходит в Убанги-Шари, одной из четырех колоний, подведомственных генерал-губернаторству французской Экваториальной Африки.

Ограниченная на юге Убанги, на востоке — линией водораздела Конго—Нил, на севере и западе — линией водораздела Конго и Шари, колония эта, как и все колонии этой группы, разделена на округа и подокруга.

Округ составляет административную единицу. Он соответствует департаменту. Подокруга соответствуют подпрефектурам.

Округ Кемо — один из самых значительных в Убанги-Шари. Если бы начали работы по постройке той знаменитой железной дороги, о которой все время говорят, но которой не строят, то возможно, что пост Фор-Сибю, главный город этого округа, стал бы его столицей.

В Кемо входят четыре подокруга. Фор-де-Поссель, Фор-Сибю, Декоа и Гримари. Местные жители и даже европейцы знают их только под именами Кемо, Кребедже, Комбеле и Бамба. Главный город округа Кемо, Фор-Сибю, т. е. Кребедже, находится, приблизительно, в ста девяносто километров на север от Банги, столицы Убанги-Шари, где число европейцев никогда не превосходило ста пятидесяти человек.

Подокруг Гримари, или Бамба, или Кандия,—по двойному имени реки, около которой выстроены здания администрации,—находится приблизительно в ста двадцати километрах на восток от Кребедже.

Область эта была очень богата каучуком и сильно заселена. Ее поверхность была покрыта всякого рода плантациями. Она изобиловала курами и козами.

Достаточно было семи лет, чтобы совершенно ее разорить. Деревни уничтожены, плантации исчезли, козы и куры истреблены. Что касается туземцев, то, ослабленные постоянным, чрезмерным и неоплачиваемым трудом, они даже поставлены в невозможность посвящать своим посевам необходимое для этого время. Среди них стали свирепствовать болезни, воцарился голод, и число их уменьшилось.

А они происходили от племени сильного и воинственного, выносливого в трудах и усталости. Ни набеги сенусситов, ни вечные внутренние распри не могли их уничтожить. Название их племени обеспечивало им жизнеспособность. Разве они не были «банда»? И не означает разве «банда»—сеть? Ибо с сетью охотятся они в то время года, когда огни зарослей зажигают пожаром весь горизонт.

Цивилизация прошла по тем местам. И с тех пор дакпы, м'бисы, марубы, лангбасси, сабанги и н'гапу,—все эти племена, все эти «банда», обезлюдели.

Подокруг Гримари плодороден, изобилует дичью и холмами. В нем водится множество диких быков и бородавочников, цесарок, куронок и голубей.

Повсюду его орошают ручьи. Деревья там некрасивы и редки. Ничего удивительного: экваториальные леса кончаются у Банги. Красивые деревья можно встретить только в лесистых ложбинах по берегам рек.

Реки змеятся среди высот, которые «банда» называют на своем языке «кагами».

Три ближайшие к Гримари: кага Коссегамба, кага Гобо и кага Бига.

Первая проходит в двух-трех километрах к юго-востоку от поста и окаймляет в этом направлении долину Бамбы. Гобо и Бига находят я в области н'гану, в двадцати, приблизительно, километрах на северо-восток...

Вот, в нескольких словах, описание той местности, где будет разворачиваться этот роман, написанный безличным наблюдателем.

Теперь, как говорит Верлен в конце *terza rima* первой трапизы своих «*Poèmes Saturniens*», —

«Теперь несись, моя книга, по воле случая».

Бордо, 5 ноября 1920 г.

Р. М.

БАТУАЛА

I

Огонь, который обычно зажигают каждый вечер, медленно угас за ночь, оставив громадную кучу еще горячего пепла.

Из стены круглой хижины сочится влага. Мутный свет проникает сквозь дыру, служащую входом. Под соломенной крышей слышится тихое, непрерывное шуршание термитов. Под защитой своих галерей из темной глины, они копаются в балках низкой кровли, которая защищает их от сырости и солнца.

Снаружи поют петухи. К их «кукареку» примешивается блеяние козлов, вызывающих к своим самкам, хохот перцеведов, а там, в чаще зарослей, окаймляющих берега Помбо и Бамбы, раздаются хриплые призывы «бакуй» — обезьян с длинными, как у собак, мордочками.

День наступает.

Еще не совсем проснувшийся вождь Батуала — «мокунджи» многих деревень, все-таки прекрасно слышал эти звуки.

Он зевал, дрожал и потягивался, не зная, заснуть ли ему опять или встать.

Вставать, Н'гакура! Зачем вставать? Он и знать этого не хотел, относясь с презрением к тому, что существуют самые простые и самые сложные решения.

Чтобы встать с постели, разве не нужно было сделать громадное усилие? Принять решение,—дело, само по себе, простое, но, в действительности, это трудно, потому что пробуждение и труд—это одно и то же, по крайней мере, для белых.

Это не значит, что труд уж очень пугал его. Сильный, крепко сложенный, прекрасный ходок,—он не имел соперников в бросании «сагая» или метательного ножа, в беге и борьбе.

С края до края громадной области «банда» превозносили его легендарную силу. Его любовные и военные подвиги, его искусство смелого охотника были увековечены окружающей его атмосферой чудесного. И когда на небе тяжело повисала «Ипэу»—луна,—м'бисы, дакпы, дакуа и лангбасси пели в своих далеких деревнях про удачу великого «мокунджи» Батуалы, и резкие ноты «балаф» и «кундэ» смешивались со звуками там-тама и «ди'нгх».

Поэтому, труд не мог его пугать.

Но на языке белых это слово получило удивительный смысл. Оно означало утомление, которое не приносит немедленного ощутительного результата, заботы, горе, страдания, потерю здоровья, погоню за воображаемой целью.

О, белые! Лучше бы им всем вернуться к себе домой! Лучше бы они ограничили свои желания домашними делами и возделыванием своих земель, вместо того, чтобы гоняться за глупыми деньгами!

Жизнь коротка. Труд создан для тех, кто ее никогда не поймет. Праздность не позорит человека. А для того, кто правильно смотрит на вещи, она отличается от лени. Что касается его, Батуалы, то пока ему не доказали обратного, он предпочитает думать, что ничего не делать значит,

попросту, пользоваться всем, что нас окружает. Жить изо дня в день, не вспоминая о вчерашнем, не заботясь о завтрашнем, не делая предположений на будущее,—что может быть лучше?

В конце концов, чего ради вставать? Сидеть лучше, чем стоять. Лежать лучше, чем сидеть.

От цыновки, на которой отдыхал Батуала, исходил приятный запах сена. Свежая шкура только что убитого дикого быка не могла бы быть более упругой.

Следовательно, вместо того, чтобы лежать и мечтать, закрыв глаза, не лучше ли снова заснуть? Таким образом, он лучше оценит совершенство и мягкость своего «богбо».

Но сначала ему надо разжечь очаг.

Достаточно нескольких сухих веток и немного соломы. Надув щеки, он подует на пепел, под которым тлеют искры. И вскоре после этого едкий и удушливый дым вытянет, под звуки потрескивающего пламени, свои спирали. Вырвется огонь, предвещающий появление постепенно усиливающегося тепла.

Тогда ему ничего не останется делать, как заснуть, повернувшись спиной к очагу и вытянувшись наподобие бородавочника. Он будет греться у огня, как игуана на солнце. Он будет подражать «ясси», с которой он столько времени живет.

Она подавала прекрасный пример. Спокойная, голая, прислонившись головой к толстому обрубку дерева, сложив руки на животе и раздвинув ноги, она предавалась «гомоголо»; она сопела—и как!—лежа у погасшего очага.

Каким прекрасным спала она сном! Иногда она ошупывала свои дряблые, морщинистые груди, похожие на сухие листья табака, и почесывалась, выпуская долгие вздохи. Ее губы шевелились. Она делала жесты. Потом опять успокаивалась. И ровно похрапывала...

Маленькая, рыжая и грустная собака Джума, господствуя над курами, утками и козлами, поместившимися в нише за дровами, дремала, свернувшись клубком, на горе корзин для каучука.

От ее истощенного лишениями тела виднелись лишь прямые, острые и подвижные уши. Время от времени, она ими двигала, раздраженная блохой или укусом клеща. Иногда, не двигаясь, она ворчала еще громче, чем Ясигинджа, любимая «ясси» ее хозяина, мокунджи Батуалы. Или же, под влиянием сладострастных видений, она нарушала тишину заглушенным лаем и открывала пасть, хватая пустоту...

Батуала оперся на локоть. Не было никакой возможности заснуть. Все объединилось против его отдыха. Туман проникал сквозь входное отверстие в хижину. Было холодно. Батуала хотел есть. Становилось все светлее и светлее.

И, кроме того, где и как спать? Лягушки-кузнецы, жабы-буйволы и лягушки-ревуны квакали в свое удовольствие снаружи, в густой и мокрой траве. Вокруг него, несмотря на холод, и еще потому, что огонь погас и дым не одурял их, жужжали «фуру» и москиты. И, наконец, хотя козы ушли при пении петухов, куры оставались и производили громкий шум.

Даже утки, кроткие утки, собравшись вокруг своего предводителя, поворачивая шею налево, вытягивая ее вперед, опуская и поднимая,—даже утки кричали от удивления.

Казалось, что произошло событие более удивительное, чем какое-либо из всех известных уткам. Они шевелили хвостами, плясали, искали чего-то справа и слева и, как будто, спрашивали о чем-то друг друга.

Когда им показалось, что они нашли то, чего искали, они окружили гору корзин для каучука и, став одна за другой,

серьезные, важные и неуклюжие, повторили одни и те же движения.

При каждом грузном и колеблющемся шаге тяжесть их зоба подавала их несколько вперед.

Кое-как, сбившись в углу, они стали тайно совещаться. По временам они с тревогой посматривали в сторону выхода.

Внезапно одна из них решилась. Она сделала пять-шесть шагов навстречу рассветающему дню, испуганно ударила по земле крыльями, чтобы ускорить свой порыв, погрузилась в отверстие и исчезла.

Другие тотчас же последовали ее примеру.

Но теперь проснулась Джума, рыжая и грустная собачонка.

Ее разбудил не этот шум. За много месяцев она привыкла к нему.

Еще при жизни ее матери, которую с'ели ее хозяева, каждое утро бывал такой же шум. Слишком часто у животных и у людей бывает только одно общее жилище, под кровлей которого они спят. Поэтому трудно, чтобы было иначе.

Тем не менее, жизнь показалась ей сначала тягостной. Она настолько плохо знала свое собачье ремесло, что забывала лаять на проходящих.

Ей пришлось терпеть от жестокого обращения Батуалы и грубости Ясигинджи. Насмешливая враждебность коз и тревожная хлопотливость птиц чуть не свели ее с ума.

Теперь, пережив все это, она стала злой, как и требовалось. Малейший возглас возбуждал ее недоверчивость, если только не являлся приказом—убираться. При виде белого человека или фески «туругу», она бежала в кусты (насколько она стала сообразительной) из боязни побоев.

Если она проснулась, то это не потому, что ее потревожили, и не потому, что она устала от чрезмерного сна.

Выспаться вполне нельзя никогда. Относительно этого она разделяла взгляд своего хозяина Батулы.

Она проснулась потому, что должна была проснуться.

В жизни мукунджи, как и в жизни всякого другого человека, собака значит не больше, чем ржание «м'барта».

Собака! Это—то, что убивают, едят или холостят. Собаке отрезают уши. Какое это может иметь значение? Ровно никакого! Ею пользуются во время охотничьих пожаров в лесных зарослях. Ибо она великолепно преследует поднятую огнем дичь! А так как помимо этого она бесполезна, то ею не занимаются.

Ни одна человеческая мысль не была чужда Джуме, маленькой рыжей собаке. Давно уже она знала, что если она останется спать до позднего утра, то никто не принесет ей еды!

Вот почему она поднималась. Разве она не знала, что на заре не дурно проглотить козьего помета? Он еще имеет вкус молока. Питательный завтрак, в особенности для собаки, которой нечего больше подцепить!

Помет она найдет наверное! Было еще слишком свежо, чтобы навозные жуки принялись уже за работу. Какое счастье! Быть может даже, если судьба ей будет благоприятствовать, она раздобудет яйцо цесарки. Однако, не следует слишком рассчитывать на это...

Поднявшись, Джума облизала себе живот и лапы, сильно фыркнула и выбрала блох. Потом, поджав хвост, мордой к земле, с'ежившаяся и несчастная, она, шатаясь, поплелась к выходу.

Научившись скрывать малейшие свои чувства, она притворялась бесконечно усталой и безгранично скучающей. Всякая

веселость с ее стороны могла побудить Батуалу пойти за нею. Этого не следовало допускать. А то, прощай случайная добыча, на которую можно натолкнуться...

Батуала дремал. Джума, куры, утки и козы ушли. Он чувствовал, что ему надо последовать их примеру. И кроме того, предстояло торжество обрезания. Он еще не пригласил никого. Пора было исправить эту забывчивость.

Протерев глаза тыльной частью руки и высморкавшись в пальцы, он встал, почесываясь. Почесал под мышками. Почесал себе бедра, голову, зад, руки.

Чесаться—прекрасное занятие. Оно усиливает кровообращение. Вместе с тем, это—удовольствие и примета.

Стоит только посмотреть вокруг себя. Все одушевленные существа чешутся, пробуждаясь. Этому примеру надо следовать, потому что он естественен. Тот, кто не чешется, плохо проснулся.

Но если чесаться—хорошо, то еще лучше зевать. Это—один из способов прогнать сон через рот.

Можно легко понять это сверхъестественное явление. Разве не верно, что в холодные дни все выдыхают из себя что-то вроде дыма. Помимо всего другого, это доказывает, что сон—только вид скрытого огня. Он, Батуала, был уверен в этом. Колдун не может ошибаться. А с тех пор, как его старик-отец передал ему свою власть, он был колдуном, он был «Н'гакура».

А кроме того, рассудим: если сон не внутренний огонь, то откуда может возникать этот дым? Кто видел дым без огня? Пусть противник покажет свое искусство и докажет, что это не так.

Зевать и чесаться—только жесты, не имеющие почти никакого значения. Продолжая совершать их, Батуала зычно

рыгнул. Эту старую привычку он унаследовал от своих родителей, которые получили ее, в свою очередь, от своих предков.

Старые привычки—лучшие привычки. Их надо тщательно соблюдать. Они основаны на опыте.

Так полагал Батуала. Он был хранителем вышедших из употребления нравов и оставался верным тому, что завещали ему его предки.

Он не углублялся дальше. Всякое рассуждение бесполезно, когда есть обычай.

Да. Скоро он сообщит своим друзьям, где и когда произойдет праздник обрезания. Пока что он удовольствовался лишь тем, что восстановил огонь, который согревал его сон. Когда проснется Ясигинджа, ей надо будет только привести в порядок свой очаг. Каждый живет только для себя, а не для других. По крайней мере, так его учили.

Сделав это, он вышел.

Вскоре он вернулся. Как всегда, и в сухое время года и в дождливую пору, вся его одежда состояла из повязки вокруг бедер. Ему стало холодно.

Туман был густой, такой густой, что он не мог даже отгадать, где находятся хижины, в которых жили восемь его других жен и дети его от них.

Брр! Присев на корточки и дрожа от холода, он скрестил руки и щелкал зубами.

Приятная теплота огня скоро отогрела его окоченевшие члены. Держа руки над пламенем, он начал напевать знаменитую песню. По мере необходимости, он сам подбирал слова. В ней много говорилось о белых вождях и женщинах.

Так как слово «ясси» часто повторялось в припеве, то он подумал о своей, о Ясигиндже. Ему захотелось,

как всегда, когда он вставал утром, удовлетворить свои потребности самца.

А так как и она привыкла к тому же, то не было даже необходимости будить ее.

Она проснется сама...

От края неба, где солнце встает, и до края, где оно ложится, ветер гонит туман. Он обволакивает своим передником вершины «каг», которые еще смутно видны. И в этих сумерках поют все птицы, от попугаев до металлических дроздов, от трясогузок до туканов.

Голуби касаются земли в своем полете. Куры бегут, спрятав голову под крыло, как только они завидят, сквозь тающий туман, кружащего невысоко стервятника.

Свежий ветер набегает, убегает, возвращается. Он заставляет деревья дрожать тысячами мокрых листьев. Дрожат верхушки «вар», стонут бамбуки, колебля свои длинные гибкие стебли.

Последний порыв ветра разрывает остатки тумана, и на небо врывается вымытое, непорочное, сияющее солнце.

И под этой ширящейся раною красного светила начинается успокоение, которое, охватывая постепенно все видимое пространство, достигает самых далеких пустынь.

Но, равнодушный к милостям солнца, сидя в нескольких шагах от своей хижины, около очага, который он только что зажег, мокунджи Батуала, с сознанием свободным от всяких мыслей медленно и мудро курил свою добрую старую трубку, свое доброе старое «гарабо».

День наступил.

II

Он курил короткими затяжками, прищулив глаза.

Время от времени за глубокой затяжкой следовал плевок.

Так он курил долго. Поднимаясь, солнце становилось все жарче и жарче. Его присутствие было приятно Батуале, но, привыкнув к его повседневному жару, он не обращал на него внимания.

Он курил...

Широкий ветер шумел в листве бавольника, проникал в чашу ветвей и дрожал среди нежной зелени их молодых побегов.

Поднимающийся сок, раздувая стволы в треснувших местах, выступал из-под лопнувшей коры каплями рыжего золота.

Похожие на листы, переброшенные от дерева к дереву, лианы неразрывно переплетались между собою.

Упорный запах теплой зелени, тучной травы, деревьев, заразное зловоние лагун и аромат дикой мяты пропитывали разносивший их легкий ветер.

Затерянные среди этой растительной вакханалии, птицы испускали крики, а стервятники, чернея в высокой лазури, парили, испуская слабые стоны.

Не то за Помбо, не то за Бамбой кто-то пел.

— Эхе... яба... хо!

Должно быть, где-то там работали, потому что в ритме песни слышалось усилие.

Монотонная песня нарушала окружающий покой. Когда она прекращалась, слышалось только потрескивание высушенных солнцем зарослей, и можно было различить те слабые звуки, из которых складывается тишина.

Потом песня стала доноситься менее отчетливо...

Ясигинджа приготовила обычную маниоку. Одновременно она сварила в двух других котлах картошку и диких багрянок.

Когда ее самец соизволил сесть за еду, она взяла оставленную им трубку.

Она принялась курить, рассеянно следя за тем, как поджаривались гусеницы. Прислонившись каждая к своей хижине, все восемь ее подруг приступили к своему туалету.

Они не вносили в это никакой аффектации. Мужчина и женщина созданы друг для друга. Так как мужчина знал, в чем заключается различие между ними, то чего ради стесняться. Стыдиться тела не надо. Стыд—только одно из притворств, введенных белыми. Скрывают только дурное или недостаток. Мужчины и женщины скрывают только то, что, как они знают, смешно или недостойно.

Батуала перешел от маниоки к гусеницам и от гусениц к картошке.

После каждого двух-трех проглоченных кусков он выпивал по одному, по два «копа» «кэнэ», пива из перебродившего проса.

Насытившись, он подал знак Ясигиндже, что он хочет еще курить. И снова, долго-долго он делал короткие затяжки из своего «гарабо», с силою выдыхая дым.

Наконец, удовлетворенный таким прекрасным началом дня, он стал осматривать пальцы своей левой ноги.

Он искал на них клещей.

Негру необходимо искать клещей. Иначе эти насекомые способны наложить в тело яичек больше, чем живет женщин в большой деревне.

Совсем другое дело—белые. Пусть попробует хоть один клещ напасть на их кожу. Они так изнежены, что тотчас же его замечают и не успокаиваются до тех пор, пока какойнибудь «бой» не сумеет его вытащить.

Но стоит ли об этом говорить? Известно, что белые слабее негров.

Вот один случай из тысячи. Под предлогом налогов, они заставляют всех тех, кого считают способными к сожительству с женщинами, таскать громадные тяжести.

Переходы длятся по три, по четыре, по пяти дней. Они не обращают внимания ни на тяжесть «сандуку», ни на дождь, ни на солнце. Ведь, тяжело от этого не им. Если мы потерпим от непогоды, то, ведь, они-то укрыты хорошо. Поэтому, вы понимаете?...

Белые, ах, эти белые!

Они ругаются от укуса москитов. Укус «фуру» приводит их в ярость. Жужжание мух делает их нервными. Они боятся скорпионов, этих черных и ядовитых «праконго», которые живут в ветхих крышах, в грудах камней и мусора. Они боятся мух-каменщиц. Все их беспокоит. Разве мужчина, достойный этого имени, должен заботиться о том, что волнуется и живет вокруг него. Ах, белые, белые!

А их ноги? Одна зараза. И зачем их упаковывать в черную, желтую или белую кожу?

И если бы воняли только их ноги! Увы! От всего их тела исходит запах труп.

Ну, хорошо: еще можно допустить, в крайнем случае, чтобы ноги были закутаны в шитые кожи!

Но защищать свои глаза белыми, желтыми, синими, черными стеклами! Покрывать свою голову маленькими корзинками. Н'гагура! Это выше всякого понимания!

Резкое презрение подняло его плечи и, чтобы выразить его, он сплюнул.

Ах, белые! Их коварство, их знания делали их ужасными!

Одни из них, приехавшие из Франции, привозили машины, которые, при повороте кусочка дерева, говорили как настоящие белые, неизвестно почему и как.

Другие—да, он видал и это!—глотали ножи.

Нечего спорить об этом. Кто во всей стране и за пределами ее не знал ужасного «Моро-Камба», коменданта, глотателя сабель, который усмирил «банда»?

И, наконец, некоторые из них, сидя на своих стульях, могли при помощи стекол, вставленных в трубки, видеть самые далекие местности, следить за самыми далекими событиями, как будто они сами были там.

Поразительно, не правда ли!

А эти «докторро», — так называют белые тех, кто занимается у них колдовством,—эти «докторро», которые заставляют вас мочиться синей жидкостью,—да, синей!—когда это взбрдет им на ум.

А вот еще! Разве это не ужасно?

На-днях, когда прибыл новый комендант, разве Батуала не видел сам, как тот снял кожу со своей руки. Кожу, которая, право, мало походила на все известные ему кожи. Но все-таки кожу!

Да, без всякой боли он отрывал от себя куски! Если бы ему было больно, он кричал бы! Раз он не кричал, значит, ему не было больно."

А разве не говорят, что некоторые из них могут вынимать свои зубы или глаза и класть эти зубы или глаза на стол перед вами!

Гм! Никогда колдуны негров не смогут проделать таких вещей. И его презрение сменилось мало-по-малу восторженным страхом.

Солнце прошло полпути.

Как всегда, металлические дрозды возвестили об этом событии. Крики кузнечиков еще не раздражали окрестности. Все, казалось, спало подавляющим, всеобъемлющим сном. Кроме трех сильных порывов ветра, проносящихся всегда в это время дня, ни малейшая ласка даже слабого ветерка не волновала громадные травы, и листья бавольников оставались такими же неподвижными, как и дымки, там вдали.

Потом запели кузнечики.

Наступило то время, которое негры выбирают для работ.

Батуала направился к высотам, господствовавшим над окружающими равнинами. Там были три «ли'нгхи» разной величины.

Он подошел к этим пустым внутри чурбанам, поднял две дубинки, лежавшие на земле, и, среди застывшего воздуха, ударил два раза, звонко, с промежутками, по самой толстой из «ли'нгх».

Сейчас же воцарилась полная тишина. Он прервал ее двумя новыми, более короткими ударами. После этого раздавалось трещание там-тамов, сначала все ускорявшееся, потом более медленное и широкое, закончившееся на самой маленькой

«ли'нгхе» быстрым *decrescendo*, усиленным финальной нотой призыва.

И вот там, там,—дальше, чем там,—еще дальше, со всех сторон, слева, справа, сзади него, перед ним загремели настоячивые ответные переливы, такие же там-тамы; одни—слабые, нерешительные, затушеванные, неопределенные; другие—отчетливые, перепрыгивающие, как переливы эхо, от каги к каге. Нечто невидимое оживало.

«Ты нас звал,—говорили эти звуки.—Ты нас звал... Мы тебя слышали... Мы тебя слушаем... Чего тебе надо от нас?.. Говори...»

Дважды пространство повторило, смутно или отчетливо, те же ноты.

Когда горизонт поглотил последнюю из них, Батуала ответил им.

Сначала это были слова, лишенные силы. Казалось, они говорили о монотонном повседневном оцепенении, об одиночестве, которое ничто не печалит и ничто не радует, говорили о покорности судьбе.

Дубинки попеременно перебегали с одной на другую из трех ли'нгх. Под их ударами рождалась мелодия, давящая, как день грозы, пока не подул «донворро».

Песня прояснилась. После внезапной паузы, ее амплитуда возросла еще больше. И все поднималась, поднималась.

Пот катился с Батуалы. Он чуть не танцевал от радости.

Он звал всех своих—мужчин, женщин и детей, их друзей, друзей их друзей, вождей, кровь которых он пил и которые пили его кровь. Он хотел, чтобы все они были здесь через девять дней, чтобы присутствовать на великой «янгбе», которую он давал по случаю «га'нзы».

Эта прерывистость звуков, установленная много «дождей» тому назад, обещала им чудеса. Будут еда, питье, разговоры, развлечения. Будет, наконец, «янгба». Не одна только янгба. А все янгбы. Не только шаг слона, танец сагаев и пляска воинов, но и еще, и еще, и, особенно, танец любви, который так хорошо танцуют «сабанги».

Будет пиршество и янгба, янгба и пьянство. Маниока, картошка, «дазо», тыква, «яме», кукуруза. Пиво из проса, «веке», перец, мед, рыба и яйца каймана. Все это будут есть и много еще другого. Все это будут пить и много еще другого. Будут пить и есть под звуки рогов и балаф. Надо приходить. Да, да, да! Это праздник га'нзы. Обрезание и отрезание совершается только раз в двенадцать лун. Надо приходить. О, как будет весело, ябао!

Эхо разнесло эту радостную речь. Умножило ее шутки и смех.

Когда он умолк, нависло тяжелое ожидание, которое длилось недолго. Вокруг него, как и при первом призыве, возобновился разговор на невидимых там-тамах. И, несмотря на расстояние, разделявшее тех, кто передавал звучные волны, в конце каждой фразы можно было уловить те же ноты скрытой веселости.

«Мы тебя выслушали... Мы тебя слышали... и поняли... Ты—величайший м'бис, Батуала... Ты величайший мокунджи... Мы придем... Мы придем непременно... И наши друзья будут там... Мы будем веселиться... Покутим!.. Будут петь... Будут танцевать... Мы будем пить без конца... как белые!.. Можешь рассчитывать на меня... Уорро... Ухорро... Канга... Ябинги... Делепу... Тупумали... Ябада... Все м'бисы и все н'гагпу будут там... Мы придем... Мы придем...»

Когда горизонт замкнул за собой последние отголоски, Батуала, желая рассмотреть верши, которые он расставил накануне, спустился к месту слияния Бамбы и Помбо.

Он нес с собой два сагая, лук и мешок из козьей кожи.

Как бы ни была близка дорога, никогда не надо, выходя, забывать взять с собою мешок. В него можно спрятать так много вещей.

Он положил в него несколько листьев «би'мби», колчан, полный зубчатых стрел, и несколько хлебцев из маниоки.

Это все, что ему было нужно. Пусть теперь встретится хоть самая большая опасность. Разве с ним нет сагаев, лука и стрел? Против голода—вот, маниока. При помощи листьев «би'мби» он может даже по желанию увеличить свой обед. Стоит только положить их в одну из верш. От них остолбевают все рыбы, которые рискнут подплыть к ней.

Он двинулся в путь.

На ходу он рассматривал землю. Это была одна из многочисленных привычек, унаследованная им от родителей. Чем старше он становился, тем больше он ценил ее пользу.

Белые, повидимому, не понимают, как полезно знать, куда ставишь ногу. Камни могут поранить; грязь способствует падению. При небольшой доле внимательности можно избежать и падений и поранений или смягчить их. Время не потеряно для того, кто следит за малейшим своим усилием. И так как, сверх того, опыт учит нас, что время ничего не стоит, то не надо его жалеть на то, чтобы быть мудрым.

Не успел он скрыться из виду, как появился Биссибинги.

Это был стройный, сильный и красивый юноша. У Батуалы для него всегда было, что поесть, и «богбо», чтобы поспать, потому что Батуала относился к нему с особым уважением.

Но его любил не только великий мокунджи. Из девяти жев Батуалы восемь доказали Биссибинги пыл своей дружбы, не считая нужным поставить об этом в известность Батуалу.

Что касается Ясигинджи, уже менее покорной тому, кто ее купил, чем желаниям Биссибинги, то она ждала только удобного случая, чтобы выказать Биссибинги, как она его жаждет.

Женщина никогда не должна отказывать мужчине. И он женщине. Единственный закон—инстинкт. Обманывать мужа или, вернее, принадлежать не только ему—не так уже важно.

Если кто-нибудь пользуется добром, принадлежащим другому, то достаточно, чтобы пользующийся вознаградил хозяина за причиненный ущерб курами, козами или передниками. И все устраивается, как нельзя лучше.

К несчастью, надо было предвидеть, что Батуала—не то, что другие. Он был ревнив, мстителен и вспыльчив, и можно было быть уверенным, что, несмотря на обычай, он не задумается уничтожить всякого посягнувшего на его поля. Он хотел сам засеивать их, потому что приобрел их ценою тяжелых жертв. Ясигинджа, любимая жена Батуалы, хорошо это знала. Поэтому, она хотела отдаться только наверняка, когда не будет риска...

В течение двух-трех лун Биссибинги размерял свои посещения. Он вступил в свой шестнадцатый «дождь». В этом возрасте мужчины, действительно достойные быть мужчинами, с утра до вечера гонятся за женщинами, как пантеры за антилопами.

Он развился сразу, сразу набрал тела и окреп. Не он искал ясси, а они искали его. Они прославляли его пыл и силу. Он был их любимцем. Он раз'единил много пар. А это повлекло за собой нескончаемые пререкания. Сколько раз белый начальник, измученный жалобами, грозил ему тюрьмой.

Но его репутация только возросла от этого.

Поэтому, его приход был встречен криками радости. Его спросили об именах женщин, с которыми он сошелся с тех пор, как его не видали; правда ли, что он спал с такой-то и такой-то,—и тысячи интимных подробностей о такой-то...

Улыбаясь и не отвечая на шутки, он взял «гарабо» Батуалы и набил его листьями «н'гао», сверху которых положил уголек.

Сделав это, он растянулся на циновке. И стал курить маленькими, короткими затяжками, прищурив глаза.

— Надо быть осторожным с женщинами, — сказала ему Ясигинджа. — Когда-нибудь придешь ты к нам, получив «касирри».

Восемь остальных жен стали смеяться.

— Э!.. э!.. э!.. ээээ!.. Ябао, эта Ясигинджа!.. Ээээээ!..

Они ударяли себя при этом по бедрам.

— Но касирри еще ничего, — продолжала Ясигинджа. — Другое дело, если ты, мой друг Биссибинги, поймашь что-нибудь похуже... Ишь! Ты развалишься тогда на кусочки, на самые маленькие кусочки. Сначала ты покроешься язвами, будешь в пятнах, как пантера. Потом, гораздо позднее, ты потеряешь зубы, волосы и пальцы. Вспомни о Якэлепэ, который умер... три, четыре, пять лун тому назад...

Смех раздался еще громче.

Он еще продолжался, когда вернулся Батуала.

Ему об'яснили причину веселости.

Он присоединил свои шутки к шуткам своих жен. Веселье достигло высшего предела. Держались за бока. Бились задом об землю. Плакали.

— Эхэ!.. эээээ! эхэ!.. Ах, этот Батуала, Н'гакура!..

Между тем, солнце садится.

Воркование «голокота», взвизгивания «жандармов», жалобные крики трясогузок и стервятников мало-по-малу стихают.

Едва заметный туман обволакивает верхушки каг. Солнце спускается все ниже. Куры, козы и утки вернулись на ночлег.

Небо покрывается мелкими облачками. Солнце почти исчезло. Оно так красно, что походит на громадный горящий цветок. Оно источает лучи, рассыпающиеся широким снопом. Наконец, оно погружается в пасть каймана пустоты.

Тогда широкие кровавые полосы появляются в пространстве. Различной окраски, всевозможных оттенков, то темнее, то делаясь прозрачными, они блуждают в необъятном небе. Скоро все они тускнеют, бледнеют и исчезают. Неописуемая тишина, следившая за агониею и смертью солнца, распространяется по всей земле.

Острая тоска волнует звезды, появившиеся в бесцветной бесконечности. Горячая земля дымится в тумане. Всплывают влажные запахи ночи. Роса тяжело ложится на кустарники. Тропинки скользки. Слышится слабый запах дикой мяты, и можно подумать, что он жужжит среди ветра вместе с навозными жуками и волосатыми насекомыми.

Слышен шум толкача, давящего где-то маниоку, просо или кукурузу. Мурлыканье там-тамов где-то оживляет «янмбу».

На некотором расстоянии друг от друга зажигаются огни. По дыму можно угадать хижины. Жабы, смотря по тому, какой они породы, дудят, режут или тьякают. Маленькая рыжая собака Джума лает, лает.

Какое странное оцепенение! Какое странное беспокойство!

Подобно пироге, задевающей, проходя, за речные травы, появляется белая «Ипэу», луна—о, как медленно скользит она сквозь тучи!

Она уже старая. Ей уже десять «снов».

III

За три дня до праздника «га'нзы» разразилась ужасная буря, закончившая страшными разрушениями опустошительный период дождей.

Ничто заранее не предвещало ее. День занялся над Гри-мари, как и всегда, ничем не отличаясь от других: сначала неопределенный, а потом—ясный и жаркий.

Спокойный, не свежий и не тяжелый, ветер колебал густые полчища листьев. Спрятавшись в их тени, ворковали «голокото», ворковали «бокудуба» и «лихуа», из которых первые отличаются от голокото только своей величиной, а вторые—зеленью своего оперения.

Над полями проса, над деревьями, над кагами неутомимо кружили все более и более многочисленные стервятники.

Иногда, один из них отвесно падал на высмотренную им добычу. Потом, медленными, широкими взмахами крыльев, как будто загребая воздух, он взмывал на высоту и удалялся, удалялся...

Не было ни свежо, ни душно.

Вдоль Помбо и Бамбы забавлялось обезьянье племя. Тут скакали «тагуа», которые всегда, как кажется, плачут, настолько крик их похож на плач ребенка; там гримасничали «н'гухили» с шерстью, похожей на черно-белый передник.

Они в страхе бежали при приближении рой пчел, бросившихся в погоню за птицею-медоедом.

Одно мгновение слышалось только жужжание этих больших насекомых. Дрожание ветерка между листьев создавало иллюзию их гудящего полета, но они уже были далеко в то время, когда можно было думать, что они еще тут.

Не было ни свежо, ни душно.

Бокудуба и голокото ворковали. Из деревень, затерянных на холмах, из долин, укрывавших другие деревни, доносились монотонные песни и шум толкачей, дающих сухую маниоку, а стервятники, более многочисленные, чем когда бы то ни было, кружили в неподвижном небе.

Рыбак Макуде поздно утром пришел навестить своего брата Батуалу, с которым он виделся редко.

Найдя двух больших рыб в своих вершах, он решил пригласить Батуалу разделить с ним трапезу.

Макуда и Батуала были братьями от одного отца и одной матери, а не только кровные родственники, как обычно, потому что всякий мужчина может, если ему позволяют средства, купить несколько жен и от каждой из них иметь детей.

Биссибинги, который находился у Батуалы, был также приглашен.

Они пошли все трое, один за другим, как утки.

Ходить в ряд не полагается. Обычай—старый, как раса негров,—запрещает это.

Джума шла за ними, опустив уши.

— Есть люди, которые корчат из себя гордецов,—сказала Индувур, одна из жен Батуалы.

Ревнивая и чувственная, она не переставала сердиться на то, что Биссибинги бросил ее ради Яссигинджи.

— Да... Есть люди, которые корчат из себя гордецов. Конечно, тот, кто не хочет понимать, не понимает. Но все равно: кто всех больше корчит из себя недоступную, та всегда доступнее. Не правда ли, Яссигинджа?

Смех. Яссигинджу не любили. Получи, милая!

— Я думаю, что ты права, Индувур, — ответила Яссигинджа. — Не знаю, впрочем, на кого ты намекаешь. Ты говоришь, конечно, о той «н'гапу», которая замужем за могущественным вождем м'бисов! Право, ей нечего гордиться. Какому только скотскому разврату она не предается. И все-таки, я бы ее извинила. Она была женою белого. Этим все объясняется.

— Недоставало только, чтобы эта шкура меня оскорбляла! Недоставало только, чтобы она меня оскорбляла! Гниль — чрево той, которая тебя носила. Ты, гнилое гнилье! Не смей говорить! Молчи, а то я перерву тебе глотку...

— Мой старый друг, зачем так кричать. Я — не глухая. Разве я тебе сказала что-нибудь неприятное? Ах, да!..

— Хочешь, я проломлю тебе этим толкачом твою мерзкую голову. Я расскажу Батуале, что ты его обманываешь с Биссибинги. Я ему скажу...

— Ах, да!.. Прошу тебя простить меня, Индувур. Я знаю тебя уже столько «дождей», что даже забыла, что ты тоже родом н'гапу, и что ты была за жену у белого. Уверяю тебя, что мои слова относились не к тебе. Все знают о твоей добродетели. И лучше всех Биссибинги, — о котором ты только что говорила, — знает, как ты поступаешь, чтобы гнать от себя мужчин...

Индувур бросилась на Яссигинджу. Она стала бы ее бить, кусать, царапать. В то время, как ее подруги удерживали ее, она произносила угрозы. Она пойдет жаловаться белому начальнику. Она расскажет всем, что Яссигинджа приняла

«иорро», чтобы не иметь детей. Она потребует от старейшин, чтобы они присудили ее выпить яд испытания. В конце концов, незачем портить себе кровь! Биссибинги! Тьфу! Ей наплевать. С тем, у кого «касири», лучше не знаться.

— Кто не может с'есть того, чего он хочет, всегда уверяет, что он не голоден... Что же касается этого козла Биссибинги, то, если он болен тем, о чем ты говоришь, мне тебя очень жаль, бедная, дорогая Индувара.

При этих словах все женщины, смеясь, приняли сторону Яссигинджи.

— Ты выбрала себе противницу не под силу...

— Вот до чего доводит ревность, Индувара. Когда ты отняла у меня Биссибинги, разве я ревновала к тебе?

— Что же ты думаешь, он одной тебе принадлежит? Какая обжора!

— Ну, и Яссигинджа! Она неподражаема!

— Какие у нее ответы!

— Ну, ладно,—сказала Яссигинджа.—Довольно пошутили на сегодня. Пойдем лучше есть маниоку. «Баба»—вещь не плохая.

— Постель, еда, пирог из маниоки, мужчина, танцы и табак,—только для этого и стоит жить.

Общая веселость встретила эту выходку.

Мало-по-малу небо стало пепельно-серым, а потом молочно-белым.

Ветер затих. Внезапно стало очень душно. Со всех сторон принялись жужжать мухи, мухи, мухи.

Одна за другой умолкли птицы. Один за другим исчезли стервятники.

Большие белесоватые тучи поднялись из-за каги. Они кучились, сливались, густели. Они неохотно неслись по воле воздушных течений.

Скоро тайная сила направила их на Бамбу.

Чернее угля, сцепившись одна с другой, торопясь, толкаясь и налезая друг на друга, они скакали, как дикие быки, вырвавшиеся из горящих зарослей.

Огненные полосы бороздили их. Эхо доносило вспышки раскатов грома.

Котлы и цыновки были убраны. Голубой дым, пробивавшийся сквозь крыши хижин, окружал их неподвижным кольцом.

Ничто больше не движется. Тучи заполняют все низкое небо. Теперь они висят неподвижно, господствуя над Бамбой, Делой и Декой. Они господствуют над деревнями Якиджи и Суманой, Ябинги и Батуалой; они господствуют над деревнями Бандапу, Таманде, Ябадой, Гратагбой, Уаладе, Пумаясси, Пангакуррой; они господствуют над всей этой зеленью, подавляя ее своей тенью и останавливая повседневную жизнь. Исполненные близкой угрозы, они ждут сигнала, который не приходит.

Но вот! Там, между Суманой и Якиджи, темные тучи образуют сероватые дорожки, которые соединяют небо и землю.

Это—дождь. Движимый тою же силою, которая направляла тучи, он низвергается на Бамбу, он кидается на Гримари.

По мере того, как он распространяется, он охватывает туманом завоеванные им земли.

Ухууу!.. Наконец-то! Поднимается сильный горячий ветер, появившийся неизвестно откуда.

Листья бананов ударяются друг о друга. Раздается перекликающееся кваканье, которое, в конце концов, сливается в сплошной гул.

Это—«кунгбы» и «леттерэ», которые призывают дождь.

Ветер дует. Ему предшествует рычание. Он проходит щеткой по траве, крутит ветки, треплет лианы, обрывает листья, подметает землю, уносит ее красную пыль, проносится, уносится, стихает.

Его ослабевший стон становится более тонким, рассеивается и замирает неизвестно где. И снова—тишина, тишина, полная тревоги после этого шума и ропота, которые только что замерли.

Но вот он начинается снова. Сейчас начнется дождь! Дождь! Ветер доносит приятный запах мокрой земли. Раскаты грома следуют один за другим. Все чаще. Начинается дождь. Тонкие, редкие, легкие капли его шелкают по сухим зарослям, по скалам. Становится свежее. Ветер усиливается. Это—«донворро».

Его ярость возрастает с минуты на минуту. А дождь идет. Тепловатый, потоками, как в дни потопа, тяжелыми, быстрыми, густыми, неутомимыми, непреодолимыми, непрестанными полчищами капель падает он на Бамбу, на Делу, на Деку. Он падает на все каги, какие еще видно, и на те, что уже не видно. Донворро и он об'единенной яростью своею одолевают заросли. Они обдирают деревья, обламывают их ветви, срывают и уносят крыши.

Непроницаемое облако поднимается над недавно раскаленными пространствами. Вода ищет воду, сливается вместе, пробивает себе дорогу, образует потоки и ручьи, сбегает по склонам, несется к реке.

Донворро ускоряет ее бег. А дождь, все более и более упорный, все более и более резкий, все более и более частый вскрывает крыши и вливается через них, врывается в хижины, гасит их очаги и размывает стены. В то же время, зигзаги молний и их блеск, отрывистые перекаты грома, грохот

деревьев, увлекающих в своём падении другие деревья, и раскаты грозы потрясают пространство своими ревущими водопадами.

Ураган длился весь день, всю ночь и все следующее утро, вплоть до той поры, когда солнце перешло за середину неба.

Ветер мало-по-малу утих. Только дождь продолжал итти, но слабый, редкий, тонкий и свежий...

Из зарослей, превратившихся местами в болота, звучало кваканье кунгб, которые радуются дождю, и перекличка кунгб и леттерэ.

Когда трава затоплена, когда все складки почвы образуют маленькие озера, жабы и лягушки поют.

Дайте тон, лягушки-ревуны! У вас сильный, глубокий и размеренный голос. Дайте тон—и жабы подхватят хором!..

Леттерэ и кунгбы поют. Они счастливы сыростью, которая их окружает. Когда она царит, как теперь, они становятся настоящими владыками мира.

Они поют.

«Ка-ак... ка-ак... ти-тилу... ти-тилу... кээ-экс... кээ-экс... киди-киди... ки-киди... джа-а... джа-а...» Звон колокольчиков, удары толкачей, трещание сагаев, неудержимая рвота, тихое и отчетливое, крикливое и хрипкое кваканье всех видов жаб и всех видов лягушек. Они справляют янгбу. Лягушки-ревуны, жабы-кимвалы, жабы-буйволы и лягушки-кузнецы соединяют в хор свои удары по наковальне, и их надтреснутые голоса сливаются в рев. «Ти-тилу... ти-тилу... кээ-экс... кээ-экс... ка-ак... ка-ак... ки-види... киди-киди...»

На закате дня раздается оглушительный звук там-тама. Внезапно он умолкает. И вдруг возобновляется...

Дождь кончился. Дороги скользкие. Их пересекают длинные толпы муравьев, покидающих свои опустошенные муравейники. Долго еще чувствуется после них цепкий запах гнили.

И почти без сумерек наступает ночь.

Луна, выйдя из своего дома среди туч, медленно обходит свои звездные плантации.

Желтая, блестящая, почти круглая. Вокруг нее нет ни одного круга. Звезды сверкают. Только и есть, что звезды, тысячи звезд и луна.

Какая-то ночная птица выводит: «Убу-ху, убу». Жабы продолжают квакать. Кузнечики скрипят, сверчки трещат. Несколько светляков мерцает кое-где в воздухе зеленым, прерывающимся огоньком... Но кроме них все спит. Тихо дует ветер. Холодно.

IV

Полная луна странствует по стране звезд. Праздник «га'нзы» начинается.

Какое счастье! Неделю тому назад белый начальник уехал из Гримари. Ему пришла прекрасная мысль осмотреть округ Бамаясси. Когда козла нет—козы резвятся. Они наводнили Пост. Копшатаются плотной толпой. Только там и можно заполнить фигуры танца охотников, требующие простора.

В длину и глубину, начиная от хижины коменданта вплоть до Бамбы, простиралось большое свободное пространство, на котором помещались административная резиденция с ее службами, лагерь милиции и тюрьма. Для охраны всего этого оставался только один милиционер, один только «туругу» Була, на которого никто не обращал внимания.

Кто, в самом деле, станет интересоваться каким-то «кулунгулу»? Кулунгулу было его прозвище, потому что его манера волочить при ходьбе ноги напоминала движение сороконожки...

«Га'нзы» еще не приходили, и янмба еще не развернулась по-настоящему. Но по некоторым признакам можно было полагать, что она будет замечательной.

Десяток разбросанных в разных местах ли'нгх ждали, казалось, сигнала. Настоящие ли'нгхи, а не маленькие и не-

красивые там-тамы, перепачканные от употребления, попорченные непогодой и проеденные термитами.

Каждая из ли'нгх, наоборот, гордо выпирала свой выпуклый двойной горб—ствол громадного, терпеливо выдолбленного, дерева.

Их покрыли беловатой известкой, сделанной из смеси белой земли и муки маниоки, а посередине провели сверху вниз и вокруг широкую красную полосу.

На земле были расставлены корзины с просом, пироги из маниоки, ветки с бананами, блюда с гусеницами, яйцами, рыбою, горькими томатами, спаржею. Были там груды вяленого на солнце или поджаренного на огне мяса антилопы и слона, разрубленные на четыре части туши бородавочника и дикого быка. Были овощи, которые презирают белые, — как, например, «дазо», которые не хуже их картошки, — «бангао» или нечто вроде сладкого картофеля с красной или желтой кожей. Были «баба'со», которые они называют ямсом. Были также большие кувшины, наполненные напитками, которые получают из перебродившего проса или кукурузы. И, наконец, было несколько бутылок «перно».

Их купили у «бунджудули» и хранили для вождей, военачальников и старейшин.

Жгучий и черный густой дым,—местами горело сырое дерево,—поднимался от множества костров.

По всем дорогам — от Камы, Пангакуры, Пуямбы и Якиджи—шли мужчины, женщины, дети, подростки—мальчики и девочки, — рабы и собаки; бежали опоздавшие, стремясь на этот дым, который был виден издалика.

Вооруженные сагаями и стрелами, с кусками пылающего дерева в руках, освещавшего их путь по лесным ложбинам и вдоль лагун, они покинули свои каги, свои заросли, свои

грязные «пата-пата», или плантации, чтобы прийти на праздник, и они пришли.

Едва добравшись до места, женщины начинали толочь кукурузу, просо или маниоку под удары своих «куфру». Они сопровождали песней о кулунгулу глухие ритмические удары своих толкачей, стучавших по деревянным ступам.

Известно, что кулунгулу живет только в навозе.

Уверяют даже,—не правда ли,—что он только им и питается.

Кулунгулу, кулунгулу,

Я-хэ! Кулунгулу, хо!

Единственное его богатство—удивительная болезнь.

Он—добрый муж, и подарил ее своей ясси.

А его ясси передала ее их достойной дочери.

Я-э! Я!

Кулунгулу, кулунгулу!

Я-хэ! Кулунгулу, хо!

Послышался смех. Веселье становилось общим. Смеялись для того, чтобы смеяться. Болтали, не зная, в сущности, что говорят. «Кэнэ» уже начало действовать, ибо не переставали пить и пить кукурузное пиво вслед за пивом из проса.

Как это может быть, что, надев себе на голову феску туругу,
На наших глазах, посреди наших прекрасных плантаций про-
ходит

Кулунгулу, кулунгулу,

Я-хэ! Кулунгулу, хо!

Во всяком случае, знайте, мои подруги ясси,

Что вы не должны разделять с ним цыновку.

Не на ясси, а на чем-то другом —

Я-э! Я!

Ложится спать гнусный кулунгулу

Я-хэ! Кулунгулу, хо!

Поразительное собрание! Тут—все м'бисы и все н'гану с их старейшинами.

Батуала держался около своих старых родителей, в центре группы, образованной вождями и их военачальниками.

Он произносил речь.

Говорят, что несколько белых умерло в Банги... что скоро в Бандорро приедет губернатор... что у М'Путу, там, во Фран-ции, франджэ поколотили залеманов.

Продолжая говорить, он набивал в лежавшие около него гаробо коноплю или табак, закуривал, делал, как принято, несколько затяжек и передавал дальше.

— Ты знаешь, Батуала, что я только что вернулся из Кребедже,—заметил Пангакура, великий вождь манджиев. — В дороге узнаешь о многом... Не кажется ли тебе, что белые не в ладу друг с другом. И вот доказательство. Мне надо было подать жалобу на одного португальца, и вот я отправился к коменданту, которому мы, из-за его большого живота, дали прозвище «Котайа». Я рассказал ему свою историю. Ну, конечно, немного приврал. «Пангакура,—ответил он мне,—ты глупее всех, кого я только знал. Старый дурак, разве ты не знаешь, что «путрикес» не идет в счет? В начале всех начал,—ты слушаешь, не правда ли?—Н'гакура белых взял самое лучшее, что у него было под рукою, и сотворил из него белых.

Потом он взял их кал и сделал из него грязных негров, вроде тебя.

Много позднее, желая создать португальца, он начал искать вокруг, но ничего не было, кроме кала негров.

Из него-то он и вылил португальца».

Раздались раскаты смеха.

— А ведь, пожалуй, плохой сбыт каучука нам на пользу?—спросил Батуала.

— Конечно. Без этого нам не пришлось бы собраться здесь на Посту, чтобы повеселиться, будь даже комендант в от'езде, как теперь.

— Тогда здесь уж непременно торчал бы один из этих скверных бунджули, которые заставляют нас платить целую «пату» — пять франков, — за то, что белым обходится только в «мейю» — в десять су.

— Твои слова — чистая вода, — сказал Якиджи. — Будем благодарить Н'гакуру за такой счастливый случай. Ведь из-за него все кунцы раз'ехали, кто в Кребедже, кто в Банги.

— Чтоб им сдохнуть, с открытой глоткой и ногами в гнили.

— Но это еще не все. О, это еще не все, Батуала.

Из-за крупных споров, которые произошли между белыми залеманами и белыми франджэ, в М'Путу отправили на пароходе «ионгорогомбэ».

Да, все эти длинные ружья, все эти сволочи стрелки будут воевать в М'Путу.

— Может быть, наши теперешние хозяева присоединятся к ним. Так полагаю я, Ябада.

— Ябао, — прогнусавил дрожащим голосом старик-отец Батуалы. — Как верно то, что мои волосы седые, так же верно то, что я думаю: ты принимаешь каги за реки, а свои желания за действительность. Вот уже три раза шли дожди с тех пор, как борются франджэ и залеманы.

Разве у тех франджэ, что живут здесь, такой вид, будто они хотят уехать? О, нет! Там — опасно. Зачем им ехать, чтобы их там убили? Всякому своя шкура дорога, Ябада.

Снова раздался смех, еще веселее.

— Ты прав, старина! Согласен. Но мое желание, — чтобы залеманы побили франджэ.

— Ах, Ябада! Залеманы, франджэ — все они белые. Что толку менять одних на других? Мы покорились франджэ, мы знаем их достоинства и недостатки. Они забавляются нами,

как «ниау» мышью. Ниау всегда кончает тем, что с'едает мышь, которою играл. А раз, рано или поздно, мы будем убиты и с'едены, то чего нам желать себе других ниау, вместо тех, что у нас есть.

Убежать от дикого быка, чтобы попасть в лапы пантеры...

Разговор становился общим.

— Он прав. К чему менять? Тот, кто их заменит, может быть, окажется еще хуже.

— Они нас не любят. А мы платим им тем же.

— Надо бы их истребить.

— Вот это дело!

— Мы их перебьем когда-нибудь.

— ... Когда банзири, якомы, губу, сабанги, дакпи, все, кто говорит на языке манджиев или санго, бросят свои распри.

— Это будет тогда, когда Бамба потечет вверх.

— А Макудэ поймает луну в свои верши.

Смех возобновился и разросся так, что слышался только один сильный, отдаленный гул.

— Тише, собачьи дети! — закричал Батуала, опьянев от конопли и кэнэ. — Или уж вы пьянее меня?

Что вы, мужчины или нет? Или вас выхолостили сенуситские «базинге»? Не знаю. Во всяком случае, я ненавижу белых.

Я вспоминаю времена, когда м'бисы жили счастливо и спокойно вдоль реки Ниубанги, между Бессу-Кемо и Кемо-Уаддой.

Когда появились первые белые и стали уносить изображения богов, котлы, кур, цыновки, собак, женщин, коз, детей и уток, тогда большая часть из нас ушла в окрестности Кребедже.

Я был тогда еще очень маленьким.

Пришлось вести борьбу, строить хижины, засеивать поля. Все напрасно... Белые пришли в Кребедже.

Новое бегство наших. Нам понравилось Грико. Мы оставились там. Те же трудности, которые мы недавно испытали при нашем устройстве на новых местах.

Теперь можно вздохнуть свободно—подумали мы... Заблуждение. Белые бросаются на Грико.

Еще раз, в полном отчаянии, мы пускаемся в путь.

Гримари! Мы—в Гримари! Мы находим прекрасное место между Бамбой и Помбо.

Мы устраиваемся там.

Увы! Не кончили мы еще своих построек, как белые уже около нас...

Тогда, потеряв мужество, утомленные, не желая видеть полное уничтожение нашего племени,—мы потеряли много мужчин, отнимая с оружием в руках землю у тех, кого мы выгоняли,—мы остались там, где были, и наружно примирились с белыми...

Послышался быстро приближавшийся отдаленный и очень сильный гул.

— Наша покорность их не смягчила. Им было мало уничтожить наши обычаи; они захотели навязать нам свои.

Отняли право играть на деньги в «патару». Запретили пить. Наши пляски и песни мешают им спать. Они допускают их только, если мы платим налог. Налоги и налоги без конца! Правительственная казна—ненасытна...

В конце концов, мы бы готовы повиноваться этим подлым людешкам, если бы они хоть немного лучше относились к самим себе. Но этого не видно. Вот пример. Две луны тому назад, скотина Уорро, пьяный, как белый, избил одну из

своих ясси. Она была вся в ранах и синяках. Ну, отколотил, так отколотил! Кто его будет ругать за это? Кто из вас не бил свою ясси? Но наша дура идет жаловаться коменданту. У того были гости—проезжие белые. Человек он, вообще, трезвый, что редко встречается у белых. Но в тот день он был пьян, как стелька, и приказал одному из туругу посадить нашего Уорро в тюрьму. А так как милиционер не торопился выполнить приказ, то комендант швырнул ему в голову пустую буылку.

Туругу присел с окровавленным лицом, гримасничая от боли. А все белые покатались со смеху...

Вот как с нами обращаются! Если не веришь, Ябада, попробуй рискнуть двумя франками в патару на глазах у коменданта.

За такое ужасное преступление ты отсидишь в колодках по крайней мере два дня. Только белые имеют право играть в азартные игры...

С налитыми кровью глазами, он стал кричать, заикаясь:

— Белые ничего не стоят! Они нас не любят! Они считают нас лжецами! Но наша ложь никого не обманывает. Если мы иногда прикрашиваем правду, то это потому, что она недостаточно хороша. Маниока без соли—не вкусна...

А они! Они лгут из-за пустяков. Они лгут постоянно и по привычке, как дышат.

Вот в чем их превосходство над нами...

Они говорят, что все племена негров ненавидят друг друга. А-ла-ла! Но разве могут примириться длинные ружья, бунд-жудули и коменданты? Да и почему нам не быть такими же, как они? Человек—всегда человек, какого бы он ни был цвета, здесь, как и в М'Путу.

Все более отчетливым становился далекий сильный шум, похожий на рокот тысячи зеленых и синих «вум» вокруг падали,

Но Батуала, встав и жестикулируя, начал кричать:

— Я никогда не перестану ругать белых. Но особенно я не терплю их за двуличность. Чего только ни наобещали они нам! Вот вы сами увидите, — говорят они, — что мы заставим вас работать для вашего же блага.

Из денег, которые мы вас заставляем зарабатывать, мы ерем только самую малую часть. Мы построим вам на них деревни, дороги, мосты, машины, которые, при помощи огня, ходят по железным полосам.

Но где эти дороги, мосты и поразительные машины? Мата! Нини! Ничего! Ничего! Мало того: они у нас отбирают все до последнего су, вместо того, чтобы брать только часть нашего заработка! И вы не считаете нашу участь жалкой?..

Тридцать лун тому назад наш каучук покупали по три франка за кило.

Без малейших объяснений, за то же самое количество «банга» нам платит теперь по пятнадцати су, — мейю и пять би'мба. И как раз в это время губернатор увеличил налог с пяти до семи и десяти франков...

Все знают, что с первого дня жары и до последнего дня дождей мы работаем ради налогов, если только еще не ради карманов наших комендантов.

Мы мясо для налогов. Мы — только вьючная скотина. Скотина? Даже не скотина! Собаки? Но тех они кормят, а за лошадьми ухаживают. А мы? Мы — хуже этих животных, мы пали ниже низкого. Они медленно убивают нас.

Потная, пьяная толпа теснилась вокруг кучки людей, состоявшей из Батуалы, старейшин, вождей и их военачальников.

Послышались ругань и оскорбительные слова. Батуала был прав тысячу раз. Прежде, до прихода белых, жили

счастливы. Мало работали и только на себя; ели, пили и спали; время от времени вели кровавые распри, вырывая печень убитых, чтобы съесть их мужество и вселить его в себя. То были счастливые дни, так жили некогда до прихода белых.

Теперь все стали рабами. Ничего нельзя ожидать от лишнего сердца народа. Ибо у «бунджу» не было сердца. Они бросали детей, которых им рожали черные женщины. Зная, что они сыновья белых, эти дети считали ниже своего достоинства входить в общение с неграми. Полные ненависти и зависти, эти «бунджувуко», эти бело-черные, отвергнутые всеми, жили, погрязая в пороках, лени и зле.

Что касается белых женщин, то о них бесполезно и говорить. Когда-то думали, что они—какая-то драгоценность. Их боялись и уважали, наравне с фетишами.

Но пришлось сбавить цену. Такие же доступные, как и черные женщины, даже более продажные, они обладали пороками, неизвестными последним... Стоит ли говорить об этом?

И они хотели, чтобы их уважали!

Отец Батуалы вытянул руку. Шум смолк, как по волшебству, но не тот шум песен и музыки, который носился в воздухе.

— Дети мои, все, что вы говорите—правда. Но вы должны понять, что сделать ничего нельзя. Покоритесь. Когда рычит «бамара», ни одна антилопа не смеет кричать по соседству. Вы—слабее. А потому—молчите...

Кроме того, по правде говоря, мы собрались здесь не для того, чтобы ругать бунджу.

Я—стар. Мой язык высох за время ваших споров. Будем меньше кричать и больше пить. Не считая постели и шез-

лонга, перно—самое лучшее, что выдумали бунджу... Зрение у меня, конечно, слабое, но мне кажется, я вижу несколько бутылок абсента, Батуала! Уж не хочешь ли ты их высидеть, как курица яйца?

Это разрядило атмосферу. Хохотали до упаду. И сам Батуала, смеясь до слез, поспешил широко удовлетворить желание хитрого старика.

Воцарился сильный шум.

Издадека, какой-то гул доносился до Гримари. Он шел оттуда, где скрещивались дороги в Пуямбу и Пангакуру. Скоро он достиг скотного двора, где стояли быки коменданта. Перейдя через мост, перекинутый над Бамбой, он вдруг вошелся прямо в Пост.

Но теперь это был уже не отдаленный сильный гул. Н'гакура превратил его в толпу молодых девушек и юношей.

Голые, с телами, набеленными пеплом и маниокой, — смерть поражает тех, кто не соблюдает этого обычая, — с обритыми волосами, блуждающими глазами, они приближались, танцуя.

Они соразмеряли свои ритмические прыжки с гортанными и носовыми звуками слов, которых никто не понимал. Ибо они пели на священном языке «самали». Они шли, охваченные какой-то яростью, мерно сплетавшей звуки песен и кундэ.

Их заметили.

Раздались неудержимые, хлывувшие как бурный поток, звуки, такие сильные, что, проснувшись на берегах Бамбы и Помбо, среди лунной ночи, захохотали туканы.

Странная, резкая и беспорядочная веселость охватила толпу, заставив ее встрепетаться. Воины схватились за свое

оружие. Собаки лаяли, дети плакали, а женщины, пьяные от кэнэ и шума, женщины, ударяя ногами по земле, кричали во весь голос:

— Га'нза... га'нза... га'нза!..

Глухо ревели ли'нгхи.

Какой волшебный блеск! Только деревья и листва их казались еще чернее в сиянии этого рассеянного света. Земля была белая! И каги были белые! А дороги были полосами из белой материи! А Помбо и Бамба катили свои лунные воды!

Присев на корточки за своими щитами и держа в руках сагаи, воины ждали.

При внезапном раскате там-тамов, они вскочили, размахивая копьями, и, подняв щиты, бросились к Бамбе. Там они повернулись, на полном ходу, и, испуская крики, вернулись обратно.

Га'нзы танцуют на месте. Там-тамы, крики, песни, балафы, кундэ затопляют все своими гремящими волнами.

Праздник разгорается. Коноводами являются мокунджи янгбы. Посмотрите, как они стараются! Их можно узнать по длинным птичьим перьям, вставленным в заплетенные волосы, и по колокольчикам, звенящим около их кистей, колен и лодыжек.

Размахивая руками и стучая нога об ногу, трое из них исполняют пантомиму. Их гримасы заставляют смеяться все общество.

Вскоре всеобщее возбуждение, распространяясь все дальше и постепенно возрастая, доходит до безумия. Среди хлопанья ладонями и шелканья языком все слышнее и слышнее раздается позвякиванье колокольчиков и бубенчиков мокунджей янгбы. Сейчас начнутся танцы, танцы!..

Дрожь пробежала по толпе и всколыхнула ее.

Дети вышли вперед. Они дошли до середины окруженного пространства, которое шумная толпа оставила свободным, и начали танцевать.

Они жестикулировали, скакали, изнемогали в судорожных движениях, двигали руками и ногами, подражая бессознательно сильным мужчинам, которых они видели в лунные вечера за танцами около хижин, когда ночь стирает горизонт и без конца евакают кунгбы.

Голые, с волосами, смазанными касторкой, с разноцветными стеклышками, продетыми сквозь ноздри, уши и губы; с медными браслетами, охватывающими щиколотки и кисти; держа руки за плечи впереди идущих,—их сменили женщины.

Они образовали большой круг, который начал кружиться, как кружатся светляки в сумерках.

По сигналу, данному там-тамом, круг разомкнулся.

Ноги, руки и голоса женщин двигались и пели в такт кундэ, ли'нгх и балаф.

Темп ускорялся, все быстрее и быстрее.

Мягкая, влажная, с закрытыми глазами, одна из танцующих заняла место посредине круга, очерченного разомкнутым хороводом ее подруг,—немного впереди их.

В таком положении, если бы она упала, ее могли бы поддержать те, что танцевали сзади нее, и выпрямить те, что находились по обоим краям полумесяца.

Она сделала три шага вперед,—женщины били в ладоши: раз! два! три! — отдаваясь кому-то невидимому. Но он оттолкнул ее, и она отступила на столько же шагов: раз! два! три!

Словно охваченная слабостью и стыдом от упорного отказа, она упала навзничь.

Ее подруги подхватили ее и выпрямили. В отчаянии, она пошла туда, куда это требовалось по правилам танца, к левому краю полукруга. В то же время, отделившись от противоположного края, другая женщина пыталась, в свой черед, добиться успеха там, где первая потерпела неудачу.

Но, когда настала очередь мужчин, разразилось настоящее безумие!

Виднелись лишь неистово рычащие рты и покрытые потом лица. Слышался только топот, от которого далеко вокруг тряслась земля.

И что за крики! Что за смех! Что за жесты! Скопление такого множества мужчин и женщин, пиво, конопля, бурные движения, веселье вызывали у всех быстро нараставшую дрожь огненного желания.

Всего их было с десятков совершенно голых мужчин.

Самым красивым и самым сильным из всех был Биссинги. Его глаза горели, как пожар в зарослях. Его мышцы напрягались. Он руководил своими товарищами, так как выделялся среди них своей высокой, тонкой, нервной и сильной фигурой.

Все они натерли свое тело красным деревом и маслом. Повсюду на них висели колокольчики и бубенчики, вплоть до венчавшего их шлема из перьев, вплоть до опоясывавшей их веревки, на которой висел передник.

От них исходил сильный запах. Усталость струилась потом по их татуировке. Но они не чувствовали ее, эту усталость! Они думали только о янгбэ, следили только за нею.

Жизнь коротка. Быстро наступает день, когда человек становится ни на что неспособным, даже на связь с женщиной. Каждое солнце приближает его к смерти, не правда ли? Остается только веселиться, пока еще можно.

Они начали танцевать.

Наклонившись к земле, они касались ее руками, опирались на нее для того, чтобы в это время сделать две-три гримасы. Они оставались склоненными, а их ноги били по земле—направо, потом налево и опять направо,—их руки, вдруг откинутае назад, начинали загребать воздух, подниматься, опускаться, опять подниматься и опускаться, как крылья большого стервятника, который бросается, бежит, снова взлетает и лениво, неподвижно парит в воздухе.

Наконец, ноги колесом, они выполняют опасный прыжок вбок, падая на ноги и руки, и продолжают танец, жестикулируя в такт громким звукам ли'нгх.

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

Вам сделают га'нзу...

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

С ножом в руке, старик, обвешанный амулетами, стоит около группы юношей. Около девушек тоже стоит старуха. А старейшины, выстроившись в ряд прямо против обоих стариков, хохочут, глядя на эту танцующую молодежь, которой сейчас причинят страдания.

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

В этот вечер вы все станете женщинами.

В этот вечер вы станете настоящими мужчинами,

После того, как подвергнетесь га'нзе.

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

Старик и старуха начинают, в один голос, речь:

— В течение луны, в течение двух лун, скрываясь в лесной глуши, вы терпели лишения, вы постились... В течение луны и еще луны вы скрывались от глаз непосвященных, убеляя свое тело, чтобы смерть не унесла его в свое селение.

Вы говорили только на священном языке. Вы питались травами и корнями вдали от глаз непосвященных... В течение луны и еще луны вы спали, где придется и как придется. Вы воздерживались от смеха и игр... Н'гакура доволен вами. Ваши испытания кончены. Вы можете играть, смеяться, танцевать, жить на свободе, говорить и спать на своих богбо... Скоро вы будете мужчинами. Скоро вы станете женщинами. Еще немного и вам сделают га'нзу... Ваши испытания кончены. Вы можете танцевать, играть, смеяться.

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

.....

Балафы, ли'нгхи и кундэ загремели, как гром, ибо надо было заглушать вопли, если бы кто-нибудь закричал. И они старались во всю.

Церемония начиналась.

Старик и старуха принялись тщательно точить свои ножи на плоском камне, на который они предварительно поплевали.

Толпа приготовилась и подняла палки, готовая ринуться на каждого, кто пошатнется. Если такого ничтожного страдания достаточно, чтобы подействовать на мужчину,—он недостоин им быть. Он должен умереть под ударами! Так требует обычай!

Но, обманывая каждый раз их надежду на убийство, новый га'нза смешивался, не покачнувшись, с их свирепой ордой.

Вытекавшая из раны на колени кровь брызгала на соседей при каждом его прыжке. Ибо от га'нзы требовалось, чтобы он скрывал боль, танцуя и распевая песню.

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

Она бывает только раз в жизни...

Безучастный к шуму, старик продолжал свою работу. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя, работая машинально. Он походил на вооруженного серпом жнеца, идущего, во время жатвы, вдоль поля.

Молодые девушки, некоторые с испуганными лицами, танцевали, кружась. Они крепились, но невольный страх вызывал у них дрожь, которую они не могли побороть.

Старуха подходила, окликала какую-нибудь из танцующих, грубо раздвигала ей ноги, захватывала полной горстью то, что надо было захватить, вытягивала, как каучукую лиану, и одним ударом—раз!—отсекала прочь.

И, даже не поворачивая головы, она бросала назад на воздух отрезанный кусок горячего окровавленного мяса, который иногда попадал кому-нибудь в лицо.

Но разве это могло иметь какое-нибудь значение? А когда такой кусок падал на землю, собаки принимались из-за него драться.

Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..
Она бывает только раз в жизни.
Сюда, женщины!.. Сюда мужчины!..
Теперь вы—га'нзы.
Га'нза... га'нза... га'нза... га'нза!..

Операторы, искромсав последнюю женщину и обрезав последнего мужчину, вытерли свои ножи.

В эту минуту шум и возбуждение толпы достигли апогея.

Все, что было до того, это—пустяки! Все эти вопли, все эти нестройные танцы должны были лишь подготовить то, чего все ждали: танец любви, который танцуют только в этот вечер, когда разрешено предаваться разврату и преступлению.

Ли'нгхи, балафы и кундэ бешено состязались друг с другом. Зловеще хохотали туканы. Ночные хищные птицы в тревоге носились над янгбой.

Но их крики и завывания тонули в этом взрыве безумия...

Появились две женщины. Одна—Яссигинджа, жена мокунджи Батуалы. Другая еще не знала мужчины.

Обе они были голые; у обеих были выщипаны волосы; на шеях у них висели стеклянные ожерелья; у обеих было по кольцу в носу и в каждом из ушей. Браслеты звенели у их запястьев и на щиколотках. Тела их были выкрашены в темно-красный цвет.

Кроме этих праздничных украшений, на Яссигиндже был надет громадный фаллус из раскрашенного дерева.

Подвешенный на поясе из лиан, охватывавшем ее талию, этот символ мужской силы, спускаясь на низ живота, определял роль, которую Яссигинджа должна была играть в танце.

Сначала она танцевала только бедрами и грудями. Ее ноги оставались неподвижными. Деревянный фаллус подпрыгивал при каждом ее движении.

Потом медленно, тихо скользя по земле, она придвинулась к своей партнерше.

Та отступила. Эта женщина не хотела уступать желаниям мужчины! Ее мимика и прыжки выражали ее испуг.

Обманутый самец отошел назад. Он яростно бил ногою по земле.

Между тем, оправившись от своего необдуманного страха, самка стала отдаваться издалека. Она показывала, что хочет отдаться.

Самец снова двинулся к ней и хотел ее обнять.

Теперь она сопротивлялась слабо. Она медленно отдавалась, тая в своем любовном пылу, как туман перед восходящим солнцем.

Она закрывала руками то лицо, то низ живота. Она была теперь только дичью, принужденной внезапно сдаться.

С мунуту она еще разжигала желание самца, отодвигая момент его удовлетворения.

Но когда тот, обхватив ее посредине туловища, грубо показал, что он не может дольше ждать, она больше не сопротивлялась.

Когда ускорившийся ритм танца закончился, наконец, порывистой конвульсией удовлетворенного желания, и короткая дрожь пробежала по их телам, они замерли неподвижно, радостные и счастливые...

Странное безумие охватило тогда беспорядочную толпу, окружавшую танцовщиц.

Мужчины скинули куски материи, опоясывавшие их чресла, женщины сбросили свои пестрые передники, у кого они были.

Груды—мужские и женские—ударялись друг о друга. Дети подражали движениям взрослых.

Тяжелый запах тела, мочи, пота, алкоголя распространялся—острее дыма.

Стали появляться тесно сплетавшиеся пары. Они танцевали так, как танцевала Ясеигинджа со своей подругой. Завязывалась борьба, слышались хриплые возгласы. Иногда тела вытягивались на земле, воспроизводя все движения танца.

Половое опьянение усугублялось опьянением алкогольным. Это было безудержное веселье стада скота, освободившегося от надзора пастуха.

Послышалась ругань. Потекла кровь. Все напрасно.

Над всеми властно царило только желание.

Там-тамы умолкли. Не слышно было больше ни кундэ, ни балаф. Музыканты сами захотели воспользоваться вызванным ими весельем, которое они поддерживали и разжигали.

Затерявшись в толпе, они танцевали танец любви, первый среди танцев, от которого происходят все остальные и с которым не сравнится ни один.

Они танцевали.

От толпы исходил горячий пар, похожий на тот туман, который встает над землею после дождя.

Еще одна пара упала на землю.

Внезапно, вцепившись пальцами в свой нож, мокунджи Батуала бросился на эту пару.

На губах его показалась пена.

Рука его поднялась, чтобы ударить.

Быстрее, чем н'гухил, Биссибинги и Яссигинджа уже были вне пределов его оружия.

Он бросился за ними.

А! Эти собачьи дети доводили свое бесстыдство до того, что случались на его глазах.

О! он убьет эту развратную суку!..

А Биссибинги он оскопит!

Все женщины будут смеяться над ним, когда его охолостят.

И подумать только! Яссигинджа! Разве он не заплатил за нее семь передников, ящик соли, три медных ошейника, собаку, четыре котла, шесть кур, двадцать коз, зорев больших корзин с просом и молодую рабыню?

Он заставит ее выпить яд испытания.

Внезапно крики и неопикуемый беспорядок сменились страшным оцепенением.

И вдруг, среди гробового молчания, раздался испуганный вопль:

— Комендант!.. Комендант!..

Толпа начала беспорядочно разбегаться по деревьям.

— Комендант!.. Комендант!..

Мало-по-малу шум и гудение бежавшей толпы стихли.

Среди хаоса костров, съестных припасов и сорванных передников оставался только один старик.

Прислонившись к одной из ли'нгх, он, казалось, глубоко спал.

— Азь, двэ!.. Азь... двэ!.. Нэпрэ-во!..

Стук прикладов о землю. Вернулись туругу.

— Сьтой!—скомандовал сержант Силлатиги Конатье. И начал, немного спустя:

— Рэвнэние нэ...

Комендант под'ехал легкой рысью на своей м'барте.

— ...прэ-во!—докончил Силлатиги.

— Что значит этот беспорядок, Сандуку? — спросил начальник, называя сержанта его туземным прозвищем. — Что это был за гам, который я только что слышал?

— Моя комендант! М'бис и их други узнал вы ушел далеко... пришел Пост напиться пьян... Люди мне это только что скажут по дороге...

— Хорошо! Великолепно! Все вожди м'бисов, не позднее завтрашнего дня, должны будут заплатить мне сто франков штрафа. Если же нет, — тюрьма и колодки!

— Слушаю, моя комендант.

— А что это за грязный негр спит там?

— Это отец Батуала.

— А что с этой скотиной?

— Я думаю, он умирал... конец, потому он пийт кэнэ. Вы выдайт на его бок бутылки перно...

— Одним пьльницей меньше. Наплевать на него! Но пусть Батуала заберет, как можно скорее, пададь своего отца... А где этот болван Була? Где эта трехногая корова? А! Вот он!

Здравствуйте, кулунгулу. Мое почтенье, сударь! Гнусная тварь! Не знаю, что мне мешает заехать в твою широкую морду! Погоди, ты у меня еще дождешься!.. А пока что, чтобы научить тебя лучше охранять Пост в мое отсутствие, разреши презентовать тебе две недели ареста, из которых одну без жалованья... А теперь, марш! вон! Вон отсюда! Г...о собачье! И это для тебя еще мягкое слово!.. А! Мосье недоволен? Нет? Ну, что ж, мосье Була, иди жаловаться губернатору! Посмотрим, поможет ли он тебе!.. Силлатиги!.. Отдых для всех. Сегодня—воскресение. Понял? Ступай!

Кунгбы квакали в надвинувшемся густом тумане.

Это было под утро сухого времени года.

VI

Не всякий день — праздник. После сухого времени года наступает период дождей; похоронная песня после песни веселой, а после смеха — слезы.

В самый разгар янгбы, сквозь черные, непроходимые заросли, отправился отец Батуалы в ту деревню, которая так далеко, что никто еще никогда оттуда не возвращался.

Умереть во время пьянства! Нет более прекрасной смерти! Опыянение уничтожает все, вплоть до сожаления, которое возможно при сознании. Это — только переход от сна к смерти. Никакой тревоги. Никакого страдания. Скользишь без конца, скользишь непрерывно во тьму. Без размышлений. Без сопротивления. Какое наслаждение!

И больше ничего, ничего. Обретаешь, наконец, покой где-то на земле Н'гакуры, если только не на земле Коликонгбо.

Там нет ни москитов, ни туманов, ни холода. Труд там отменен. Не надо платить никаких налогов, не надо переносить никаких сандуку. Побоев, штрафов, колодок — нини! мата! Не надо больше ни смотреть, ни желать. Все есть в избытке и задаром, даже женщины.

С тех пор, как явились бунджу и поселились среди них, у бедных негров не оставалось другого убежища, кроме смерти. Только она освобождала их от рабства. Ибо только там, в этих

далеких и темных странах, вход в которые белым был строго воспрещен, могли они найти счастье...

В течение восьми дней и восьми снов, вокруг тела отца Батуалы, привязанного к дереву, рыдали плакальщицы и во-пленицы.

С посыпанными пеплом, в знае траура, серыми волосами, и вычерненными углем лицами, они раздирали себе грудь и тело, крича и танцуя.)

Присутствующие вяло бормотали похоронную песню:

Баба, один ты только счастлив,
А плакать надо нам,
Которые оплакивают тебя.

О, если бы не существовало обычая возбуждать их монотонную усталость, они давно прекратили бы это занятие!

Ведь мертвый, в конце концов, не интересен. Чего можно требовать, чего можно ждать от него? Он не может ничего дать, с него ничего нельзя взять, он потерял всякую ценность. Он не принадлежит уже общине. Он так же бесполезен для племени, как сухой лист или кость без мяса.

Обычай и старейшины требуют, однако, чтобы народ сопровождал пением мрачных песен и танцами путь того, кто, по невидимым тропам, идет в селение Н'гакуры или Коликонгбо, находящиеся так далеко, что никто еще не мог оттуда вернуться.

Конечно, отец Батуалы окончательно умер. В этом не могло быть сомнения.

После восьми дней, в течение которых было выставлено тело, а большие зеленые вумы бросались ожесточенными роями на падаль, пора было уже «саять» труп в землю.

Баба, один ты только счастлив,
А плакать надо нам,
Которые оплакивают тебя.

Кроме того, охота была в самом разгаре.

Уже несколько вечеров подряд со всех сторон горизонта поднимался плотный дым и вставал отвесной линией к небу, предвещая прекрасные утренники. Каждый вечер, вместе с грохотом там-тамов, ветерок доносил остатки сгоревших трав и благоухание ароматических растений.

Так как время года призывало к охоте на дичь, то, соблюдая обычай, необходимо было, как можно скорее, «посадить» всем надоевший труп старого отца Батуалы.

Что делать—обычай! Хотя его давно уже перестали уважать.

Молодежь и особенно те, кто служил у белых, насмехались над ним.

Юность, по неведению, часто любит посмеяться. Она насмехается над стариками и их мудростью. Она не старается рассуждать. Или, вернее, она полагает, что взрыв смеха стоит не меньше, чем какое-нибудь рассуждение.

А, ведь, обычай—это опыт прадедов и предков. Они накопили в нем все свое знание, как накладывают в корзину каучук.

Поэтому, нельзя было назвать напрасным обычай, требовавший, чтобы трупы выставлялись на восемь полных суток и более.

Это долгое выжидание, которое белые считают глупостью, имело то преимущество, что все семейство покойного могло быть представлено на похоронах.

Всякий м'бис беспрестанно перемещается, как это делает, впрочем, и всякий другой негр. В одном месте он живет сутки. А завтра он уже в другом. Послезавтра же следы его совершенно теряются.

И вот, в случае смерти, немедленно начинает говорить там-там. Его призыв принят и передан дальше. Он скачет из долины в долину, перелетает через каги, гудит в лесах под деревьями, минует их, бежит дальше, спешит, катится от лагуны к лагуны, от деревни до деревни, сообщает всем и каждому роковое известие. И тот, которого он искал, торопится вернуться, чтобы как можно скорее быть там, где он должен быть.

Вот одна из причин, почему мертвых выставляют на такое долгое время.

Но еще, и главным образом, вот почему.

Предки предков знали, что иногда тот, кого считали мертвым, вовсе не умер. Они видели, как мертвецы возвращались к жизни. Отсюда они заключили, что можно спать несколько дней сном, подобным смерти, оставаясь все-таки живым.

Говорите после этого, что глупо выставлять мертвых и выставлять их надолго!

Если кто, действительно, ушел в далекую страну, то его окоченевшее тело не замедлит разложиться. Утратив способность говорить на языке живых, тело его самым зловонием своим передаст его желание быть погребенным...

Но разве могут белые понимать этот немой язык, признать мудрость в обычае?..

Так думал Батуала и шопотом передавал свои мысли Биссибинги.

Сидя рядом, они принимали участие в погребальной церемонии.

Примирившись на другой же день после праздника, они, казалось, были связаны еще теснее, чем раньше, и приписали опьянению и безумие страсти и безумие крови.

Но Биссибинги знал, что Батуала намерен ему мстить. А Батуала знал, что Биссибинги знает это.

Баба, один только ты счастлив,
А плакать надо нам,
Которые оплакивают тебя.

Белый, рассердившись, моментально свирепеет.

Банда или манджа, санго или губу поступают иначе. Мщение — не из тех кушаний, которые едят горячими. Хорошо скрыть свою ненависть под видом притворной дружбы; она служит пеплом, который насыпают на огонь, чтобы его сохранить для нужной минуты.

Хижину, поле, коз, даже деньги — все отдают в распоряжение своего врага. Все.

Стараются даже предупреждать его желания. Надо усыпить его недоверие. Отдавайте ему желтых и белых коз, желтых и белых кур! Цвет этих «матабиш» символизирует незапятнанную дружбу, которую ничто не может нарушить.

Эта игра может продолжаться довольно долго. Надо только уметь ждать. Ненависть — это долготерпение.

В один прекрасный день наступит благоприятный момент, и тогда отравляют того, кто в течение стольких лун был больше, чем вашим братом, был вашим «уанджей». Его отравляют или убивают его, «делая пантеру».

Да, да! «Делая пантеру!» Вот вещь, которой белые тоже не знают. Эхе!

Как раз этот род смерти Батуала выбрал для своего лучшего уанджи — Биссибинги.

«Муру» — пантера — жестокое животное, бродящее в зарослях, особенно в безлунные ночи.

Если вы слышите царапанье, хруст... это она медленно рвет свою добычу, раздирает ее. Ее усатая морда нюхает кровь,

прежде чем ее выпить, кровь, которую она любит, кровь, которая дымит. Она катается в ней, валяется в ней, пьянеет от нее и, перегрызая горло, долго еще ищет ее сильного запаха на своих облизанных губах.

Подражая муру, темной ночью, спрятавшись в зарослях, окаймляющих тропинку, по которой пройдет враг, и надев маску, поджидают свою жертву.

Вот она! Порывистый прыжок. Ее опрокидывают на землю. Душат. Потом, при помощи зазубренного ножа, острого камня или когтей ей перерезают вены на шее, как это делает пантера, отрезают член за членом, как это делает пантера, кромят ее на куски.

Так мечтал Батуала. Почти так же рассуждал Биссибинги. Аха! Как восхитительно выглядит труп старого врага!

Баба, только ты один счастлив,
А плакать надо нам,
Которые оплакивают тебя.

Какой-то ребенок играл странной ящерицей, которую называют «коли'нго».

Все знают, что коли'нго, в зависимости от места, где оно живет, бывает черным, зеленым, желтым или красным.

Но знала ли об этом Джума, маленькая рыжая собака с острыми ушами? Нет. Она, должно быть, этого не знала. Вот почему она лаяла на коли'нго в то время, как худой Коссейендэ, которого сонная болезнь довела до сумасшествия, передразнивал, как настоящий сумасшедший, воплевец, ребенка с коли'нго, лай Джумы и причитания плакальщиц...

Батуала подал знак и встал.

Пленные рабы положили отвязанный труп на одну из цыновок, которой он пользовался при жизни.

Глухое гудение ли'нгха присоединилось к крикам воплевец.

Мы отнесем тебя, наконец,
В твое новое жилище,
Отец Батуалы.

Не сожалей о жизни:
В стране Коликонгбо
Ты будешь счастливее нас.

Ты будешь есть и пить,
Пока не утолишь голод и жажду.
Больше тебе ничего не надо.

Когда были закончены последние приготовления, все отправились в то место, где надо было «посадить» остатки того, что было недавно человеком.

Место это было выбрано недалеко от хижины, в которой покойник жил последнее время.

Друг против друга находились две круглых, широких и глубоких, дыры, сообщавшихся между собою при помощи подземной галереи.

Это была могила для умершего.

Его спустили в одно из этих отверстий.

Одна из рабынь уже соскользнула в другое.

Она потянула из-под земли за ноги того, чья душа странствовала по стране Коликонгбо, и, растянув их, снова поднялась наверх.

Теперь, прислонившись спиной к земле, отец Батуалы отдыхает. Он спит, сидя. Спит непробудным сном.

Вторую дыру, откуда виднелись его вытянутые ноги, сначала заполнили кусками дерева, потом—землею.

Он не почувствовал странной тяжести, шевелившейся и влажной. Он спит. На его неподвижную голову тоже нагромождают куски дерева. Он не чувствует ничего. Его закрытые глаза даже не открываются.

На слой сухого дерева настилают циновку. На циновку накладывают землю. И эту землю утаптывают, утаптывают.

Старику все равно. Он спит. А когда кто-нибудь спит таким сном, совершенно лишнее раскладывать на утоптанной земле одежду спящего, а на этой одежде расставлять котлы, которыми он когда-то пользовался, его шезлонг и гарабо. Совершенно лишнее готовить для него все, что нужно для жизни!

Ведь, сухое дерево и циновка не позволят падающей земле потревожить его сон. Кроме того, рядом с ним положили котелок и несколько передников, и если бы ему очень захотелось пойти ночью побродить по деревням живых, утолить свой голод и жажду, приготовить себе обед и одеться, если бы ему было холодно...

Но все это так невероятно. Он спал таким крепким сном!

Ты находишься в стране Коликонгбо,
Среди предков предков.
Когда-нибудь мы встретимся с тобой.

Все кончено, кончено навсегда.

Вокруг могильных отверстий потанцовали и уничтожили, на большом костре, всю обстановку, принадлежавшую мертвецу.

Ты находишься в стране Коликонгбо,
Среди предков предков.
Когда-нибудь мы встретимся с тобой.

Наступила ночь. А с нею и холод.

Там, на дороге из Пуйамбо, слышался, как всегда, рев всесильной «бамары».

Светляки освещали темноту своим слабым светом. На углях, согревавших сон Батуалы и его родных, кончали свой полет родившиеся в ту ночь однодневки.

Прошло несколько дней.

Сняли крышу с хижины покойника. Разбили деревянный фаллус, вбитый в землю перед жилищем того, кто был отцом рода.

Голова человека была мертвой, и потому обезглавливали хижину. Мужчина, уведенный Коликонгбо, не произведет больше себе подобных, и потому разбивали то, что некогда олицетворяло его мужское начало.

Но о самом мертвом никто уже не думал. Были другие, более неотложные заботы.

Прежде всего, надо было найти того или ту, кто своими чарами вызвал исчезновение отца Батуалы.

Мы рождены для жизни. Если кто-нибудь умирает, то это потому, что кто-то сделал «иорро» и произнес заклинания.

Поэтому надо найти чародея...

А потом... О! потом наступило время охоты.

Аха! «Бенге» и его рыжий брат «вунгба», живущий отшельником, пороли своими клыками брюхо собакам.

Эха! Дико мычали ослепленные дымом и треском пламени гогуа, стремительно носясь туда и сюда с высоко поднятыми хвостами.

Чего только не соберут охотники в своих сетях! Кроликов, антилоп, циветт. Брызжет кровь! Валятся наружу внутренности! Морды и рыла покрыты пеной или брызжут слюной. Молниеносная игра сагаев, метательных ножей, стрел и рогатин ускоряется! Залыхался, повиснув на боку издыхающего животного, собаки лают, лают!..

Что может сравниться с радостью такой жизни, с упоительным восторгом быстрых движений, с опьянением от убийства — словом, со всем тем, что составляет основу нашего существования?

VI

Перейдя за середину неба, солнце спускалось к своей хижине, выстроенной на невидимых границах земли.

Доброе старое солнце так справедливо. Оно светит для всех живущих, самых великих и самых ничтожных. Оно не знает ни богатых, ни бедных, ни белых, ни негров.

Какого бы они ни были цвета, каково бы ни было их состояние, все люди—его сыновья. Оно равно любит их, покровительствует их полям, рассеивает, чтобы доставить им удовольствие, холодные, мрачные туманы, поглощает дождь и изгоняет тьму.

Ненавистную тьму! Где бы она ни укрывалась, солнце преследует ее беспощадно, неутомимо. Только ее оно и ненавидит. Лучи его укрепляют больных. Для них хранит оно свои самые горячие ласки. Свет — это здоровье и радость. Ибо солнце — добрый молодой старик, безграничное и спокойное веселье приветливых полей жизни.

Все, что не может покорить и чего не в состоянии достигнуть человек, оно покоряет и достигает.

Подобно непрерывно сменяющимся водам реки, сменяют одни люди других в течение длинного ряда периодов дождей. У них рождаются дети, у которых позднее будут свои дети.

Трава, которая питается землей, животные, которые едят траву, человек, который уничтожает и траву и животных, — все умирает. Там, где были хижины, очаги, жизнь, стада, поля и деревни, там возникают заросли, которые, в свою очередь, когда-нибудь исчезнут. Реки высохнут. И напрасно люди думают, что они переживут себя в детях своих детей. Самые древние роды угаснут, как костер под дождем.

Но «Лоло», добрый старик, который боится только «Ипэу», луны, потому что по вечерам он бежит от нее, — старый и всегда молодой «Лоло», доброе светлое солнце, мукунджи богов неба и земли, будет, как и раньше, так и теперь, сегодня, как и завтра, вечно сиять над исчезнувшими мирами.

Лежа ничком на одной из самых высоких скал каги Кос-сегамба, Биссибинги ждал.

Иногда, подобно «кокорро», который, извиваясь вокруг ветки дерева, разевает свою пасть с ядовитыми кривыми зубами, как будто хочет укусить или проглотить солнце, Биссибинги зевал, передвигался на другое место и снова замирал неподвижно.

Маленькое, совсем маленькое, голое и блестящее пространство вон там, это Пост Бамба, это Гримари.

Из маленькой хижины, возвышавшейся почти на краю этого маленького, блестящего, голого и желтого пространства, исходили приказания, которым, какими бы странными они ни были, должны были подчиняться м'бисы, даклы, манджи и лангбасси.

По темной линии деревьев Биссибинги следил глазами за извилинами Бамбы, которая изгибалась, медленно расширяясь, между обнаженными кагами.

Идут. Топот пугает циветт—животных, похожих одновременно на кролика и крысу. Люди натыкаются на камни. Поднимают пыль. Идут с копьями на плечах и глухо поют песни.

Они спускаются. Перед ними—Дека, приток Бамбы. Ничего не значит. Идут дальше.

Идут и идут. Они уже потеряли из виду Коссегамбу, перешли деревню Ябаду и высоты каги Макалы.

Здесь мало долин, но повсюду хижины. Это—земля ланг-басси; это—деревни племени Лисса.

Повсюду засеянные поля. Повсюду равнины, равнины и равнины, а в конце этих равнин—Дека, изливающаяся в Канджу, потому что за это время Бамба превратилась в Канджу,—один Н'гакура знает, каким образом!

Дальше шли другие племена, которых он не знал совсем. А за ними была Ньюбанги, большая река, мать всех рек; Ньюбанги, по которой в половодье белые направляют в Мобэй гигантские пироги, движущиеся без весел и выплевывающие дым из труб, похожих на большие трубки.

Биссибинги побывал во всех этих местах. Всюду там было много диких быков, а потому они были интересны для охотника.

Но лучше оставить гугуа в покое там, где они были, чем иметь дело с дакнами, худшими из всех людей и самым предательским племенем,—за исключением белых.

От казавшихся мертвыми зарослей поднималась безграничная скука. Зной ниспадал на них, как расплавленная руда в «бапану» кузнеца.

Вот уже в течение двух лун, как с восхода до заката дня жгли траву. В течение двух лун темнота освещалась пламенем пожаров. А ветерок, раздувая величественные фонтаны огня, доносил эхо его сухого потрескивания.

Биссибинги ждал.

На тропинке, змеившейся вдоль Коссегамбы, показалась одетая в передник из давленных лиан—«гэнгэ»—женщина.

Она шла, не торопясь, с трубкой во рту, поддерживая рукою поставленный на голову кувшин.

Биссибинги сразу узнал ее.

Это была Ясигинджа, аккуратно явившаяся на свидание, которое, случайно, ему удалось назначить ей вчера.

Вдруг его взор омрачился. Он был недоволен. Женщины раз в месяц одеваются в течение недели в такие передники, и всегда по известной причине.

У других племен такая одежда делается, вместо давленных лиан и коры, из черной, синей или красной ткани.

Но, несмотря на разные цвета, причина одна и та же. Впрочем, теперь, когда она была ближе, он лучше мог ее рассмотреть.

Ее лоб был повязан красной ниткой, а волосы распущены.

Таково уже было его счастье! Когда он был уверен, что, наконец, возьмет ее, она вдруг заболела той болезнью всех женщин, которою они болеют каждую луну и которую делает Н'гакура!

Она остановилась перед ним.

Они молча пожали друг другу руки и сели рядом.

Тут им незачем скрываться. Здесь было безопасно. Все были на охоте. Самые населенные деревни опустели. Там оставались только старики, больные, те, у которых умерло зрение, женщины в родах, козы и куры.

Что же касается собак, то все Джумы из всех деревень ушли со своими хозяевами.

Биссибинги любовался Ясигинджей.

Как он ее желал! Конечно, само солнце катилось в ней по голубым веревочкам кипевших кровью жил.

Но, вместе с тем, зачем на ее шее висит тройное ожерелье из раковин? Зачем на ногах ее тяжелые браслеты из красной меди?

Она была очаровательна. Кусочек дерева проходил через мочку ее левого уха; другой был воткнут в правую ноздрю. Эти украшения придавали ей тот изящный вид, который имела только она одна.

У нее были плоские груди, широкие бедра, округлый и сильный зад и тонкие волосы. Только прическа ее не шла к этому восхитительному лицу и телу, потому что женщина во время этой болезни обязана временно отказываться от всякого ухода за собой.

Она также украдкой наблюдала за ним.

Биссибинги, несмотря на свою тонкую, стройную фигуру, обладал той силой, которая составляет красоту самца.

Правильная форма костей, плотно усталые мускулами плечи и грудь, отсутствие живота, длинные, полные и нервные ноги.

Во время бега он мог, должно быть, обогнать уносящегося с криком «м'бала». И разве она не знала, до какой степени он был мужчиной, раз те, которые принадлежали ему хоть раз, старались удержать его, умолая, плача и вынося от него оскорбления, побои и презрение.

— Биссибинги, мне необходимо быть осторожной,—сказала Яссигинджа.—Мне необходимо быть осторожной больше, чем когда бы то ни было.

Колдун объявил, что отец Батуалы умер по моей вине. Я, будто бы, наслала на него злого духа.

Защити меня, Биссибинги, защити меня! Ты—силен. Если ты не станешь между ними и мной, они убьют меня. Они уже начали ворожить.

Но до сих пор это было в мою пользу.

Недавно, они при мне зарезали черную курицу. Согласно обычаю, за несколько минут до смерти ее отпустили. И она, умирая, упала налево, а не направо.

А ты знаешь, что это значит: Ясигинджа—невиновна; надо искать в другом месте того, кто сглазил отца Батуалы!..

И что же? Старики, посоветовавшись, не признали очевидности этого знамения. И вот, мне надо готовиться к испытанию ядом.

Она помолчала и продолжала:

— Конечно, я его не боюсь. Я, не сопротивляясь, выпила бы «гу'нди». Я даже много выпила бы его. Это—единственный способ сделать его безвредным.

Но если я освобожусь от этой второй опасности, как мне избежать остальных? Ведь, мои мучители не захотят платить за свою ложь подарками, как этого требует обычай. Дать мне двух женщин, двух рабынь! Как бы не так! Они предпочтут влить мне в глаза «латшу»...

Ну, а тогда они в один голос закричат, что Н'гакура произнес свой суд и что у них есть доказательство моей вины. Меня избьют. Меня побьют камнями. Все эти собаки, которые ненавидят меня за то, что я когда-то их оттолкнула, воспользуются моей слабостью и загрязнят меня своей похотью...

Она снова помолчала.

— Биссибинги, Биссибинги!—воскликнула она.—Они заставят меня опустить руки в кипящую воду! Они приложат раскаленное железо к моим грудям. Биссибинги, Биссибинги! Они подвергнут меня пытке голодом и жаждой! Мне будет холодно! И потом они живую закопают меня рядом с отцом Батуалы, чтобы моя смерть была приятна для его умирающей ярости!..

Биссибинги, я хочу тебя! Я чувствую, что я хочу тебя, только тебя, тебя одного!

Разве я виновата, что до сих пор мы не могли поспать вместе?

Я окружена ревностью, за мною следят. За тобою тоже следят и тебя тоже ревнуют. Если мне скажут, что за нами сейчас подсматривают, я не удивлюсь...

Но сколько бы ни было препятствий, вода всегда течет к воде. Даже каги, несмотря на их величину, не могут помешать двум рекам слиться вместе. Поэтому, если твое желание хоть немного равняется моему, то я буду твоею через несколько дней, только твоею...

Решай!..

Солнце было уже не таким горячим. Там-тамы и рога выбивали и трубили призывы. Биссибинги узнал по ним, что Батуала ждет его прибытия. Только при нем он зажжет для охоты свои земли, находившиеся между деревней суманских даклов и селением якиджийских н'гапу.

Яссигинджа снова начала говорить.

— Ты хотел бы меня сегодня, Биссибинги? О, если бы я могла, для того, чтобы тебе принадлежать, задержать действие луны на мою кровь,—не смейся над моей искренностью,—я с наслаждением бы это сделала.

Но, в несчастье, мы, женщины, бессильны в этом деле. Когда нас мучит наша кровь, нам остается только ждать. Ты хорошо знаешь это. Ты знаешь также, что я хочу тебя так сильно, как ты не можешь хотеть меня. Все мое существо жаждет тебя. Я принадлежу тебе. Ты меня звал—я пришла. Когда я буду снова чистой, ты можешь взять меня. А пока бежим. Я буду тебе стряпать, мыть твою одежду, подметать твою хижину, я очищу и засею твои поля,—я все это сделаю,

только бежим. В путь, Биссибинги, если ты согласен. Мы придем в Банги, где ты поступишь в туругу. А если ты станешь туругу, то кто из м'бисов посмеет подать жалобу на тебя? Никто, даже сам Батуала...

Пойдем! Я не хочу пить яд. Я не хочу опускать свои руки в кипящую воду. Я не хочу, чтобы мои груди коробились под раскаленным докрасна железом. Я не хочу, чтобы умерли мои глаза. Я не хочу умирать. Я—молода, здорова, сильна, я могу еще прожить много дождей. А жить—это значит спать с человеком, которого любишь...

Биссибинги встал, потягиваясь.

Налитая кровью пирога солнца плыла вниз по горизонту.

Птицы умолкли. Распространялась тишина, предшествующая мгновению, когда солнце, утром, готовится подняться, и тому мгновению вечером, когда приближается ночь.

— Яссигинджа, ты сказала верные слова, и они требуют размышления. Во всяком случае, клянусь тебе Н'гакурой, что тебя не тронут.

Но бежать еще не время. Пусть кончится охота. После этого я тотчас же отправлюсь в Банги и поступлю на службу.

Туругу, или милиционер, как называют его белые, имеет ружье, патроны и большой нож, который висит у него на левом боку на кожаном поясе. Он хорошо одет. Ноги его обуты в сандалии. Он носит феску. И каждое воскресенье, когда «таталита» сыграет отбой, он может проделать в деревнях свое маленькое «пе'ндере», во время которого женщины любят на него.

Но кроме этих, есть еще другие, более важные выгоды.

Вместо того, чтобы платить налог, туругу помогают его собирать.

А для этого они грабят и обложенные им деревни, и те, которые уже выполнили свой оброк.

Они заставляют людей толочь каучук. Они набирают тех, кто понесет сандуку.

Такова работа милиционеров.

Всюду, где бы они ни проходили, вожди и племена заваливают их подарками, чтобы снискать их благоволение.

Эти маленькие удовольствия делают жизнь туругу сладкой, приятной, легкой и веселой, тем более, что коменданты слабо знают язык той страны, где они находятся — нашу страну и наш язык.

Биссибинги лукаво усмехнулся и продолжал.

— Предположим, что какая-нибудь деревня показывает себя не слишком щедрой. Тогда придумывают одну из тех забавных историй, у которых нет ни начала, ни конца, и рассказывают ее милейшему коменданту.

А тот, всегда справедливый, разумный и дальновидный, начинает с того, что приказывает арестовать все население: кур, вождей, собак, женщин, коз, детей, рабынь и конфискует урожай.

Потом кур, коз, собак, урожай и женщин продают иногда с аукциона, а полученные, таким образом, деньги вносят в уплату за налог.

Иногда же туругу раздают своим друзьям взятых ими коз и кур, если только не приносят их в дар губернатору, который вспомнит об их подарках, когда наступит срок для производства в чинах.

В таких случаях, они допускают нас к участию в дележе собак, женщин, коз и урожая...

По правде сказать, только добрые и миролюбивые коменданты применяют такие меры.

К счастью, не все они таковы. Без этого, до чего бы мы дожили, Н'гакура?

У нас, ведь, есть еще воинственные коменданты. Их больше. Такие коменданты влезают на горячего м'барта, берут с собой кучку молодых солдат и выступают в поход против несчастных бедняков, которые не могут оказать никакого сопротивления.

Когда набег кончен, коменданты посылают губернатору ворох «бети», в которых говорится о нашей доблести и об их храбрости. Ложь дешево стоит белым начальникам!..

А теперь я ухожу, Яссигинджа. Меня зовут, меня торопят. Я ухожу...

Добрый путь тебе туда, куда ты идешь, Яссигинджа!

— Добрый путь тебе туда, куда ты идешь, Биссибинги!

Она следила за ним, пока он удалялся, постепенно уменьшаясь, и, наконец, исчез. Тогда она привела в равновесие на своей голове кувшин с припасами и, в свою очередь, медленно двинулась в путь.

Надвигались нежные, полные звезд, сумерки. В воздухе носился запах ароматических растений. Тьма обрамляла красноватые отблески лесных зарослей.

По небу, изогнувшись, как метательный нож, плыла прозрачно блестящая луна. Какая-то яркая звезда сияла вдали от нее в пустом темносинем пространстве.

На земле—мирное счастье, спокойные огни, жизнь, в недрах которой, казалось, никогда не должно совершаться преступлений. И только одного не хватало этой картине—сосредоточенной тишины.

Во мраке ночи, заглушаемые ветром или расстоянием, сердито ворчали глухие раскаты там-тамов.

VIII

Биссибинги идет среди ночи.

Он несет лук, стрелы, колчан и, вместо сагая, громадный медный «ликонго» с широким и тяжелым железным наконечником. У него есть еще два метательных ножа, просторный мешок, набитый провизией, и кинжал, прикрепленный ремнем ко внутренней стороне его левой руки.

Так он идет среди нескончаемой ночи, спокойно, не торопясь, но внимательно прислушиваясь и вглядываясь при малейшем шуме.

Сколько времени уже углубляется он в темноту, держа в своей правой руке головню?

Он и сам не знает этого. Только бунджу способны делить время на равные кусочки. Мало того: они еще держат эти кусочки в маленькой коробке, где легко двигаются по значкам две, а иногда три иголки, отличающиеся друг от друга длиной и быстротой движения.

Кага Коссегамба,—крохотная речка Бубу (ябао! как хорошо он в ней искупался),—маленькая деревня, построенная на ее берегу одним из военачальников вождя Делепу,—дорога к Посту,—конюшни Поста, на расстоянии полета сагая от Бамбы, рядом с кладбищем, где хоронят белых,—Бамба,—потом большой мост, который, господствуя над ее водами,

проходит над ними,—и, наконец, Пост, с его полями, фруктовым садом коменданта, сараем, в котором, во время каждого бора каучука, помещаются вожди, военачальники и их люди.

Перейдя Помбо, Биссибинги обогнул деревню Батуалы и направился к одному из отдельно стоявших шалашей, где жил рыбак Макуде.

От него он точно узнал, где находился Батуала.

Когда он уже собирался уходить, Макуде добавил к своим объяснениям несколько темных советов.

Уже самая неясность их заставила Биссибинги понять, до какой степени его жизни угрожает опасность.

Медлить больше нельзя. Надо действовать. И с невозможной быстротой.

На одно мгновение ему пришла мысль не идти на полученное приглашение. Но, поразмыслив, он сообразил, что его отсутствие могло бы показаться странным. Чем он рисковал? Встретить Батуалу среди его людей? Нет, не надо делать ложных шагов.

Какой дивный ветер! Он нес с собой рычание труб, треск пламени, призывы ли'нгх и множество всяких отголосков...

Надо было действовать или умереть. Действовать! Но где и как? Все вокруг было так прекрасно. Там-тамы. Летучие мыши. Совы. Светляки. Далекие огни. Полное звезд небо. И везде—роса, роса!

Ах, как хорошо!

Да, но... какое же принять решение? Конечно, его не убьют сегодня. При свидетелях не убивают.

Пусть так. Но как бы ему самому избавиться от Батуалы?

Гм! Немного «лику'нду» очень помогло бы. Его можно тайком примешать к питью и еде Батуалы. Очень заманчиво, конечно, «сделать пантеру». Не надо пренебрегать и сагаем.

Но, к сожалению, оба эти способа оставляют следы. А лику'нду не оставляет.

Вглядываясь в землю, чтобы не натолкнуться на ствол дерева или на камень, Биссибинги шел среди сильного красного света, который, казалось, поднимался до неба, подхлестываемый ветром.

Он бросил свою головню.

Но в то время, как он шел, погруженный в раздумье, по направлению к Пуямбе, пожар пошел со всех сторон на приступ осажденной им каги.

Пламя продвигалось извилистыми, быстрыми и жадно все вокруг лизавшими языками, цеплялось за скалы или, пылая на месте, охватывало большое дерево, взбиралось тяжелыми скачками до его верхушки и не могло расстаться с ним даже после того, как оно валилось на землю в темной ночи, ярко освещавшейся его падением.

Где и как убить Батуалу?

Ожидать случая? Нет, нет. Подстроить его? Да. Но это было очень трудное дело.

Последнее усилие! Добравшись до вершины каги, пламя соединилось, со всех сторон, в один громадный пожар, из которого валил красный и черноватый дым...

Или он убьет Батуалу, или тот убьет его.

Конечно, ему больше улыбалось убить, чем быть убитым. Когда человек молод, и женщины уступают его желаниям, жизнь имеет свою привлекательность.

Он посмотрел вокруг себя. Повсюду пожары. Каги полыхали, подобно факелам, поднятым среди ночи.

Ему необходимо было убить Батуалу!

Стой, Биссибинги, стой!.. А случайности на охоте? Они бывают довольно часто, и о них стоит иногда подумать.

Ну, да! Метят в животное, а убивают человека. Не всякому дано быть ловким. Самый лучший стрелок может не попасть. Эхе!

А пожар зарослей!

Сколько несчастных умирает каждый год в его пламени! Огонь пожирает все, не размышляя о том, что он делает и куда направляется. Стоило только затянуть слишком долго отдых в каком-нибудь месте охоты. Прошел огонь, тот огонь, который не останавливается ни перед чем, кроме воды, да и то гримасничая от ярости,—и все кончено...

Итак, огонь в зарослях или случайность на охоте.

Он втянул в себя воздух и фыркнул.

Уху! Тьфу! Как здесь воняет! Конечно, тут есть люди. Из всех одушевленных существ, экскременты человека выделяют самый невыносимый запах.

Он бьет вам в нос, преследует, упорствует, мучит. Какая вонь!

Уху! Какое зловоние! Конечно, тут есть человек.

Он посмотрел вокруг внимательнее, чем когда бы то ни было. Ночью на каждом повороте тропинки может спрятаться в засаде враг. Благоразумие—это то же, что мудрость.

А! Муравьиная куча.

Биссибинги ее исследовал и повернул направо, потому что сидевший на ее вершине гриб был обращен направо.

Дальше он нашел на высоте плеча сломанную ветку, а у ног—кусок обструганного дерева, потом траву из зарослей.

Концы этих предметов были обращены налево. Он повернул налево. Чуть заметная тропинка. Это—здесь.

Он машинально повиновался этим указаниям. Бунджу думают, что заросли—мертвы; они ошибаются.

С утра до вечера, с вечера до утра заросли болтают, как старуха.

Гудение там-тама, которым ударяют по двояковыпуклым лин'гхам, призывы рогов или труб, крики, до такой степени похожие на крики некоторых птиц, что можно ошибиться, сигналы при помощи огня, подаваемые с одной высоты на другую, трава, уложенная по самой середине дороги, две муравьиных кучи, наваленные одна на другую обычным и всем известным способом, пучки листьев, связанных условным образом, кусок дерева, проходящий через другой такой же кусок,—вот тот живой язык зарослей, богатство которого очень велико.

Да будет благословенна их чаща! Ее считают мертвой. А между тем, она живет, живет, но говорит только со своими детьми, только с ними. Дым, звуки, запахи, неподвижные предметы,—все это она употребляет в качестве языка, когда она хочет обратиться к повинующимся ей пространствам, где растет дерево, цветет трава и пасутся дикие быки.

Да будут благословенны заросли! Да будут благословенны недра как и болот, лесов и равнин!

Послышался лай, в котором звучали брань и угроза. Затрещал факел из каучука. Два пьяных голоса. Это был Батуала со своей старухой-матерью и Джумой, маленькой рыжей собакой, с заостренными ушами.

Биссибинги пришел туда, куда направлялся.

Но как же он убьет Батуалу? Случайность на охоте или огонь зарослей?

Впрочем, сейчас ему надо было больше думать о защите, а не о нападении, потому что, несмотря на полученные предупреждения, он доверчиво попал в грубую ловушку, которую ему расставили.

IX

Биссибинги быстро понял, в чем состояла его неосторожность.

Перед ним был пьяный человек, завлекший его в западню, в которую он дал себя поймать, как ребенок.

Базалось, все было для этой цели предусмотрено.

Он находился на лужайке, вдали от всех дорог, идущих вдоль Помбо или пересекающих его.

Свидетели? Ни одного. Впрочем, нет: целых два: «мамма» Батуалы и маленькая рыжая собака Джума.

Но, ведь, это все равно, что ни одного. Мать, если в несть хоть капля чувства, никогда не предаст своего сына. И не Джума же, — конечно, нет! — пойдет доносить, что бы ни произошло, потому что ни одна еще собака не говорила на памяти людей.

Итак, смотри зорко, Биссибинги, мой друг. Иначе!

Он сел в стороне, воткнул свой ликонго в землю и обнажил свой кивжал. Тот, кто захочет напасть на него, не проглотит его, не поперхнувшись.

Он отказался от пищи и просяного пива, которые были ему предложены, и сделал вид, что не замечает разочарования хозяев.

— Макуде уже угостил меня картофелем, копченой рыбой и кэнэ. Я больше не могу, Батуала. Ты думаешь, что я лгу? Пощупай мою сумку, она полна припасов.

Он погладил Джуму, которая лизнула ему руку. Собака от радости стала кататься по земле, чихнула, помахала, тывая, хвостом и слегка укусила, играя, ласкавшие ее пальцы.

Но Джума была собакой, как все собаки, то-есть сущим пустяком. И Биссибинги перестал с ней играть. А так как Джума долго не могла этого понять, то он бросил в нее камнем.

Тем временем, пьянея все больше и больше, Батуала встал, чтобы протанцевать некоторые фигуры танца любви.

Он только воображал, что танцует, но на самом деле он лишь шатался; его голова и ноги были тяжелые, а глаза красные и выпученные. Потом, натолкнувшись на пень, он вытянулся во весь рост.

Джума тотчас же с лаем принялась бегать вокруг него. Это очень милая шутка со стороны хозяина, и ей, собаке, она очень нравилась!

— Такой случай произошел когда-то с Иили'нгу,—сказал Батуала, поднимаясь. И разразился хохотом.

— Впрочем, я говорю тебе об Иили'нгу,—продолжал он,—но ты, вероятно, не знаешь истории, на которую я намекаю. Слушай...

В те времена, как и в наши дни, земля была безграничной; она была покрыта зарослями, лесами, реками, и на ней жили муру и м'балы.

Люди уже существовали. И, вместе с ними, существовал холод.

Если бы не существовало холода, люди были бы счастливы. Они жаловались только на него. Холод лишал их члены гибкости. Холод сокращал их сон.

Они так сильно жаловались, что Ипэу, луна, призвала Иили'нгу,—иначе его зовут Салафу,—и поручила ему научить людей употреблению огня...

От жилища Ипэу до земли путь долгий.

Чтобы скорее добраться, Ипэу спустила Иили'нгу на большой веревке, к которой была привязана ли'нгха. Вербку эту должны были втащить только после того, как Иили'нгу ударит там-тамом по ли'нгхе.

От Иили'нгу люди скоро узнали, что огонь не только прогоняет холод, но и согревает члены, варит пищу и освещает темноту.

И он стал их лучшим другом. Его спрашивали обо всем, что казалось таинственным...

И вот, мало-по-малу, страх охватил печень людей при виде того, как исчезали окружающие их живые существа.

Куда уходили души животных, которые ложились, в один прекрасный день, чтобы больше не подниматься?

Напрасно было, после этого, говорить с ними, гладить, ласкать, они уже более не отвечали на своем языке. Они оставались молчаливыми и неподвижными. Мухи забирались к ним в ноздри, и после этого, увы, они превращались в грязную копошащуюся груду личинок и червей...

Люди снова обратились к мудрости Иили'нгу, который, не зная, как успокоить их страх, отправился к своей повелительнице Ипэу и сказал ей:

«Племя людей находится в тревоге. Они боятся умереть и просят меня спросить у тебя, подчиняются ли они законам, управляющим животными».

«Иди скорее и успокой их, мой милый Иили'нгу» — отвечала Ипэу.

«Я их сотворила по подобию своему. Я тоже умираю, но для того, чтобы возродиться через восемь снов после своего исчезновения.

Пусть они не забывают об этом. А чтобы они верили моим словам, ты будешь впредь жить среди них».

И Иили'нгу, сидя верхом на своей ли'нгхе, стал спускаться на веревке.

Он держал ее обеими руками и, в то же время, рассеянно думал о куче разных вещей.

И вот, думая, что он уже прибыл на место, он отпускает веревку, и ли'нгха падает в пространство.

Бесполезно договаривать, что он умер при этом падении. С этого времени люди также стали умирать.

Биссибинги слушал Батуалу. Мысль его усиленно работала. Батуала открывал ему тайны, которые разрешено знать только очень старым людям. Уху! Осторожность! Значит, его решили убить. Осторожность! Он был теперь во власти случайности. Может быть даже, что через мгновение...

— Ты говоришь об огне, Батуала? Ты уверяешь, что, по приказанию Ипэу, Иили'нгу сошел научить людей его употреблению. Возможно. Но племена, живущие на берегах Ниубанги, думают иначе.

По словам этих людей, огонь был найден предком всех предков Джумы.

Однажды первая собака играла, царапая землю. Она уже выкопала довольно глубокую яму, как вдруг испустила долгий болезненный вой. Она стала прыгать то на одной лапе, то на другой и стонала.

Заинтересовавшись этим шумом и странными движениями собаки, хозяин подошел к яме и сунул в нее ногу. Яху! Он обжегся в свою очередь и таким образом открыл огонь.

Вот что мне рассказали лодочники якомы.

— Твои якомы—волдыри, налитые ложью, Биссибинги.

Только благодаря Иили'нгу, только благодаря ему, говорю я тебе, люди узнали огонь. Он же построил землю, нагромоздил каги и налепил склоны рек. Но первого мужчину и первую женщину сотворила Ипэу.

Я знаю еще многое, Биссибинги, многое, чего ты не должен знать, потому что и так ты уже знаешь больше того, что должен знать человек в твои годы.

Биссибинги не ответил на угрозу. Слово—еще не действие. Он довольствовался тем, что следил за малейшим движением Батуала, не слишком заботясь о хохоте его мамы.

— Знаешь ты, что Ипэу—враг Лоло, солнца?— снова заговорил Батуала.—Нет, неправда ли?

Ну, так вот. Очень давно, Лоло, которое одновременно и мужчина и женщина, жило в дружбе с Ипэу.

В то время, о котором я тебе говорю, у Ипэу и у Лоло были мамы, которых они любили так, что и сказать нельзя.

Так как мамме Ипэу было слишком холодно, а мамме Лоло слишком жарко, то Лоло взяло на себя заботы об Акере, мамме Ипэу, а Ипэу взялась заботиться о мамме Лоло.

Этот обмен оказался роковым. Привыкшая к холоду старуха Акера умерла от чрезмерного жара, а привыкшая к жару мамма Лоло умерла от чрезмерного холода.

С этого момента начинается ненависть, разделяющая Лоло и Ипэу. Вот почему,—хотя власть Ипэу больше власти Лоло, и с наступлением сумерек она заставляет его бежать,—вот почему, однако, она прячется от него, когда он жжет поля.

Батуала остановился и бросил на Биссибинги торжествующий взгляд.

— Ты не знал этого? А? Биссибинги? А знал ли ты, что «а'мберепи», которые, как ты видишь, горят там наверху, эти бесчисленные монетки в десять су, которые моргают, как множество глаз,—знал ли ты, что эти а'мберепи—только дырки, через которые проходят капли воды во время дождя?

Когда-то женщины, желавшие стать матерями,—а в те времена они все хотели этого,—не должны были есть ни коз, ни черепах. Мы знали тогда, что женщины, которые станут питаться козым мясом, будут поражены бесплодием, а те, что с'едают черепаху, родят преждевременно состаревшихся детей.двигающихся так же медленно, как черепаха. Мы знали также, что наши предки могли, по желанию, вызывать дождь. Они могли это делать, но делали это только с хорошим намерением, когда приближалось время посева.

Когда луна посевов прогуливалась по небу, они сыпали горстями соль на большой костер. Тогда скоро начинался дождь, потому что соль всегда привлекает воду, которую она любит...

Нас учили также, что «до'ндорро»—злой дух, живущий в животе людей. Когда у тебя болит живот, это означает, что его мучит до'ндорро, что до'ндорро рождает себе подобных.

А Н'Гакуру, того Н'Гакуру, которым мы клянемся при каждом случае, знаешь ли ты Н'Гакуру?

Биссибинги покачал головой.

— У него есть прекрасная жена. Число его детей превосходит число трав в зарослях. Двое старших, Надулу и Надгоджо, помогают своему отцу управлять его деревнями.

Семейство Н'Гакуры всегда благоволит к людям. Они выслушивают все обращенные к ним просьбы, при условии, чтобы эти просьбы сопровождались всякого рода приношениями.

Единственный их враг—Коликонгбо. Это, впрочем, все знают. Испокон века несчастные обитатели земли платятся своими боками в их споре: Коликонгбо убивает друзей Н'Гакуры, а Н'Гакура убивает друзей Коликонгбо...

А Дад'ра, Дад'ра, подвижный брат а'мберепи, который так походит на них, Дад'ра, который носится между небом и землею в теплые и прекрасные ночи; Дад'ра, который исчезает, гремя, как ружейный выстрел,—могли ты когда-нибудь знать, кто такой Дад'ра!

Биссибинги молчал.

— Нет, нет и нет! Может быть, ты узнаешь это, если доживешь до седых волос, в чем я сомневаюсь, потому что я из тех, кто думает, что ты не доживешь до старости.

Тот, кто хочет жить долгие годы, не должен слишком сильно любить жен своего соседа; и не надо, чтобы жены соседа слишком домогались его любви.

А дальше—я предпочитаю молчать. Я чувствую, что говорю больше, чем должен. Правда, что это ради тебя же. Но сегодня вечером я пьян. Я и то сказал больше, чем хотел.

Но прежде, чем закрыть рот, я расскажу тебе всетаки сказание о Коликонгбо.

Он помолчал и продолжал:

— Настоящее его имя—Тролле.

Коликонгбо так мал, что его, так сказать, никогда не видно, и некоторые люди даже утверждают, что он существует только в воображении.

А между тем, он существует. Это не ложь. Если бы он не существовал, то почему бы всякому карлику стали давать прозвище Коликонгбо?

Где живет Коликонгбо? На высотах, в пещерах, в лесной чаще. Он питается медом, ямсом, плодами каучукового дерева и мясом слона, таким вкусным и нежным.

Если бы не его рост, он был бы, как ты и я. Ноги и руки у него, как у человека,—и все остальное. Заметь только: за исключением волос: поищи на его теле хоть тень какого-нибудь волосика. Если ты найдешь хоть один, я очень удивлюсь.

Но, несмотря на свой малый рост, Коликонгбо чрезвычайно силен. Он сильнее всех людей и животных вместе; он так силен, что если ты его встретишь, то остерегайся протягивать ему руку. Его пожатие раздробит тебе все пальцы.

У Коликонгбо есть засеянные поля, много засеянных полей. Он богат. Он могуществен. Невероятно.

Но хоть он и богат и хоть детей у него столько, что число их равняется числу человеческого племени, он не может найти достаточно рабочих, чтобы поддерживать работу в своих громадных владениях.

Во время дождей он, конечно, ни за что в мире не выйдет из пещер, где он отдыхает. Но как только наступает хорошая погода, Коликонгбо подвязывает вокруг пояса связку из листьев и трав, которая служит ему вместо передника, вооружается громадным ликонго и, взяв такой мешок, какого нигде не увидишь, отправляется на поиски приключений.

Тогда ему открыты все дороги, и все принадлежит ему. Он проходит по скалистым плоскогорьям, где жжет солнце, и подготавливает там свои ужасные шутки. Он ходит туда и сюда, обливаясь потом и гремя. Он ходит туда и сюда. Из-за всякого пустяка он заставляет людей блуждать с утра до вечера, удаляя с их пути все живое и направляя их в сторону от деревень...

В сухое время года на дорогах мало людей; в сухое время года все охотятся. Красное, сочащееся кровью мясо стоит всех полей в мире...

Иехэ! Что это там? На одной из дорог, по которым бродит Коликонгбо в то время, когда солнце, поднявшись на середину неба, горячее кипящей воды, вдруг кто-то появляется.

Этот человек так устал, что не замечает Коликонгбо, который идет следом за ним, постепенно приближается к нему, поднимается и — хлоп! — наносит ему в затылок такой удар, который мог бы отбить рога у быка.

Из глаз человека сыплются тысячи искр, в ушах жужжат пчелы; в горле сухо; тяжело дыша, он падает, вытянув руки вперед, и, дыша, как кузнечные меха, засыпает.

Он спит. Не надо терять времени. Коликонгбо наскоро кладет его в огромный мешок, с которым он никогда не расстается, и скоро-скоро бежит к своим полям.

Там он будит спящего и говорит ему:

«Хочешь работать на моих полях? Я буду тебя хорошо кормить. У тебя будут жены, куры, козы. Ты будешь счастлив, — ручаюсь тебе.

Но если, как я надеюсь, ты примешь мое предложение, предупреждаю тебя, что ты никогда больше не увидишь свою деревню, ни всего того, что тебе принадлежало.

Ну, что же, соглашаешься? Отвечай!»

Обычно, как ни соблазнительно предложение, от него отказываются. И опять — хлоп! — удар дубины обрушивается на затылок несчастного; Коликонгбо снова сует свою жертву в мешок и, в несколько быстрых прыжков, переносит ее на то место, где она подверглась нападению.

Когда человек приходит в себя, шея у него болит, голова — тяжелая, колени подгибаются. Все члены его как будто изломаны. Он пытается вспомнить, почему. Ищи, ищи! Коликонгбо чисто обделывает дело. Ты никогда не найдешь.

Но если бы ты не так одурел и посмотрел хорошенько, ты увидел бы недалеко от себя Коликонгбо. Насторожив уши и глаза, он слушает, глядит и поджидает...

Что ты скажешь об этом сказании, Биссибинги?

— Я думаю, что это — замечательное сказание, Батуала. Но знаешь, что я тебе скажу? По моему, солнечный удар и сказание о Коликонгбо—одно и то же.

И он тихо смеется.

Он тоже знал разные истории. Ему даже хотелось рассказать одну из них, которая об'ясняла происхождение сонной болезни.

Но это сказание было чересчур длинным. Надо его отложить до другого раза.

Несколько мгновений Джума бормотала сквозь свои подбренные губы глухую ругань на своем собачьем языке.

Потом она бросилась к краю тропинки, где и остановилась, выжидая, пока оттуда не показалась кучка людей.

Это были якиджийские н'гану, заблудившиеся ночью.

Какое счастье! Их присутствие успокоило Биссибинги и разогнало его тревогу.

Торопливо набросал он кучу листьев и вытянулся на ней, чтобы заснуть.

Ему хотелось спать. Его не убьют этой ночью. И потому самое лучшее—воспользоваться отсрочкой, которую предоставлял ему случай.

Но одно мгновение, уже закрыв глаза, он подумал:

«Завтра будет светло».

Потом его голова слегка закружилась. Рядом с ним люди разговаривали. Его дыхание стало ровным и сильным.

Он спал...

Х

Дороги в зарослях—такие мокрые и свежие по утрам; влажное благоухание, мягкие запахи, дрожь трав, ропот и быстрое дрожание листьев под напором легкого ветерка; похожий на мелкий дождь туман; холмы и долины, раскинувшиеся под бледным солнцем; дым, возня живых существ, там-тамы, призывы и крики; пробуждение, пробуждение! Ах! Слишком высоко на деревьях поют птицы! Слишком высоко кружат и кружат стервятники! Слишком высоко небо, лазурь которого кажется бесцветной от сильного света.

Прекрасный день! «Гуссу»—заросли—все заросли начнут скоро гореть! Пехэ! Теперь не время кричать, м'балы! Вы, бенге, и вы, вунгбы, вы сделали бы лучше, если бы не рыли берлог своими прожорливыми рылами. К нам, антилопы! К нам, циветты и «то'ндоротто!» Неситесь стремглав! Топорщите свои иглы, то'ндоротто! Огню нет дела до всего этого. Бегите, мыча, гогуа! Бегите кучами, бегите, прыгая, в беспорядочном страхе, подняв хвосты трубою, неситесь во весь дух, быстрее стрелы, скорее ветра, словно вы внезапно, услышали позади себя рев вашей повелительницы бамары.

Бегите и вы, уалы и дарра'мбы! Испуганные тенью своих длинных ушей и всем, что вокруг вас, бегите, бегите, полагаясь только на быстрые зигзаги своего бега! Бойтесь жесто-

кого народа, бойтесь братьев Джумы. Не зарывайтесь больше в складки земли, такие же коричневые, как и ваше тело. Довольно хитрить! Даже в своих норах вы не будете в безопасности... Вам надо бежать, бежать, бежать!..

Прекрасный день! Прекрасный день! Охота при помощи огня не может не быть обильной! Конечно, при подсчете не окажется «коло»: эти животные, длинные ноги и шеи которых возвышаются над самыми высокими травами, привыкли жить там, очень далеко, между Уамом и Кабо, между Кабо и Н'дэле, на равнинах, богатых колючими растениями, составляющими их пищу.

Ах! Эти коло с высокими, пятнистыми туловищами!

Не окажется среди добычи и «бассарагб», больших бассарагб, на морде которых торчат два неравных рога.

Бассарагба с ее маленькими, красными от злобы, глазами, которые так плохо видят, и с ее безобразными мускулистыми, складчатыми шеями—ужасна, ябао!

Она увидела вас? Рру! Она катится прямо на вас, прямо на вас! Ничто не останавливает ее бега. Лесная чаща, болото, деревья, лианы, она все ломает, рушит, пробивает и раздирает на своем пути.

Горе тому, кто гонится за ней! Горе тому, кто бродит у берегов, где она медленно щиплет траву и пережевывает пищу! Пусть он остерегается. Пусть призовет он на помощь все могущество Н'Гауры! А если он случайно натолкнется на дымящийся помет бассарагбы, то пусть, при виде громадной кучи его, он не кричит: «Ух! Как много!» Или его песенка спета. Да! Конечно!

Отдуваясь, грозно рыча и издавая стоны, выскакивает разъяренная бассарагба со вздутым и звучащим от вечного донворро животом, толкает человека, опрокидывает его, раздавли-

вает, ложится на него, как сухой бамбук, топчет его ногами и, перекачиваясь, уходит только тогда, когда от трупа остается лишь окровавленная каша, остатки которой ночью поделят между собою шакалы.

Поэтому, в таких случаях, лучше заткнуть себе нос, сплунуть от отвращения и сказать: «Фу! Какая вонь!»

Едва услышав эти непочтительные слова, бассарагба, застыдившись, быстро убегает...

Не будет коло и бассарагбы. Все равно! Охотятся на то, что есть. Охотятся, чтобы охотиться. Это — игра сильных, борьба человека с животным, искусства со зверством.

Богатая опасностями охота подготавливает к войне. Пусть тот, кто может, докажет в ней свою ловкость, смелость, силу и выносливость. Пусть он покажет верный глаз, быстрые ноги, легкую, уверенную и неутомимую походку, умение, не задыхаясь, не останавливаясь, долго бежать без передышки, за раненым животным.

Уалы, циветты, дарра'мбы, то'ндоротто — все они, при помощи собак, легко попадают в расставленные «банда» сети. Петли сетей являются для них непреодолимой ловушкой.

Но если можно поймать таким способом маленьких антилоп, то это невозможно, когда имеешь дело с антилопой бозобо или антилопой-лошадью, с вунгбой, гогуа и м'балой.

Гогуа и вунгбу, если только они не угодят в заранее заготовленные ямы, надо утомить и загнать.

Но когда они загнаны, гогуа и становятся особенно опасными.

Чувствуя, что смерть мало-по-малу является на смену крови, вытекающей из раны, гогуа оборачивается к нападающему и, опустив голову, бросается на него...

Беседуя таким образом, мирно шли Биссибинги и Батуала, первый сзади второго.

Низко опустив голову, за ними плелась Джума.

Каждую минуту к ним присоединялись м'бисы, н'гапу и дакпы. Они были вооружены сагаями, стрелами и метательными ножами.

Их вожди были украшены перьями, тела натерты красным деревом и смазаны касторовым маслом: день охоты — праздничный день. Они шли с песнями. За большинством из них шли собаки, такие же рыжие и такие же угрюмые, как и Джума.

Стояла хорошая погода. Ветер, мягкий и нежный, прилетая оттуда, где поднимается солнце, и летя туда, где оно ложится, освежал заросли. Лоло надо было еще далеко бежать, прежде чем оно достигнет середины неба. Там-тамы ли'нгх взбирались, пересмеиваясь, безо всякой дороги, по равнине, которая поднимается к синим деревьям, где живет Лоло. Высоты каги Биги казались на горизонте только маленькой точкой. Их перешли рано утром.

Прекрасный день!

Маленький отряд рассеялся у скрещения двух тропинок, из которых одна вела к деревне Сумане, а другая в деревню н'гапу, объединенных под властью Якиджи, бывшего вассала сенуситов.

Каждый направился к своему посту, чтобы там, в назначенное время, исполнить то, что ему было определено. Одни следят за огнем, другие его тушат, третьи зажигают. Тех, кто охотится, кто действительно охотится, кто убивает, — тех немного.

Итак, одни пошли к реке Дангуе, которая сливается с Гутной и потом впадает в Кили'мби.

Там они должны были зажечь огонь.

Другие остановились по сю сторону реки, в деревне вожда дакпа-иеров, Гаода, и на берегах Массая'нги. Некоторые,

наконец, отправились к избранному для охоты месту. Они растянулись между реками Гондбаджией и Гобо. Батуала и Бисибинги были оба в этой последней группе.

Распаковали провизию. Туго набитые гарабо обходили по кругу. И в то время, как Джума и все ее братья и сестры завязывали более тесное знакомство обычным у них собачьим способом, люди плотно поели и хорошо выпили. Потом стали говорить о том, о сем, уткнув подбородки в колени и поджав пятки под зад.

— Утверждают,—говорил Батуала,—что бамары и муру охотятся семействами.

Да, это верно, бамара загоняет дичь вместе со своей самкой. Верно также и то, что когда она кормит своих детенышей, самец берет на себя пропитание их всех.

Но эта семейная жизнь длится недолго. Как только молодые пантеры почувствуют себя в силах жить самостоятельно, бамары, отец и мать, дают им понять, что они хорошо сделают, если избавят их от своего присутствия.

Молодые пантеры, как и молодые люди, действительно, невыносимы. Они требуют большего, чем им могут дать. Их голод никогда нельзя утолить. Но тот, кто хочет быть сытым, должен работать. Дут-ут!.. дут-дут!.. Бамара-отец рычит, возвращает своими страшными глазами, топорщит свою коротенькую гриву, скалит зубы и прогуливается взад и вперед, сердито ударяя себя хвостом по бокам...

Рассказывают еще и другое, уверяя, что это не подлежит сомнению.

Некоторые думают, что дикие звери кричат, когда охотятся за дичью.

Какая глупость! Это значит говорить, не подумав. Ведь, охотник, когда он идет по следам антилопы, старается, по

возможности, не производить шума. Почему же бамара станет действовать иначе? Если бы она стала рычать, то разве не были бы предупреждены этим все звери, которых она хочет захватить врасплох. Они бы тотчас же разбежались...

Нет, бамара рычит только тогда, когда она выражает свою радость, когда она уже растерзала или схватила добычу. Дуут!.. дут-дут!.. Все в порядке, — как бы говорит она. Мой голод утолен или скоро будет утолен. Я чувствую себя счастливой. Мне хочется играть и гоняться за своей тенью на солнце. Мое рычание наведет страх на бродящих по соседству гугуа и антилоп. Дуут!.. Как животные глупы! С тех пор, как они знают мой голос и привыкли его слышать, они все еще не знают, что, когда я рычу, я меньше всего опасна. Ла!.. Мой желудок полон. Я сильна и хочу забавляться. Взберемся-ка на вершину этой каги. Дуут!.. Ах, как я смеюсь! С высоты, на которой я стою, я вижу все вокруг. А что я вижу? Я вижу вдаль, на полях, удирающие стада гугуа. Они слышали, как я рычу, и бегут, глупые! Надо еще посмеяться! Дуут! Дут-дут! А теперь поищем места, где я могла бы мирно, в прохладе, переварить пищу.

— А люди, которые утверждают будто м'балы никогда не нападают на человека, а, наоборот, бегут при звуках выстрела, — не думаешь ли ты, Батуала, что эти люди так же безумны, как Коссейэнде? — спросил Биссибинги.

— Я тоже так думаю и имею на то причины.

Много дождей тому назад я жил в Кемо.

Там жил, в то время, один великий белый охотник, который охотился только на м'балу.

Его звали Кокелен.

Он был одним из тех бунджу, которых редко встретишь. Ростом он был не ниже сара или н'гамы, а глаза у него были

цвета ясной погоды и блестели на его лице, как солнце на небе.

Он носил длинные волосы, которые падали ему на шею, и длинную бороду, а сила у него была такая, что он мог бы убить гогуа ударом кулака.

Мы его очень любили. Он жил, как и мы, бедные негры. Он ел наши кушанья. Вместо постели, у него было только богбо, как и у нас. На этой циновке он и спал, вытянувшись, ночью...

Однажды утром ему сказали, что появилось стадо м'бал. Они опустошали поля племени гобу, расположенные недалеко от Уадда, на берегу Уах'мбере, в которой водится много кайманов.

Он взял только два ружья, дал одно из них своему лучшему разведчику, зарядил другое двумя зарядами и — в путь.

Счастье ему благоприятствовало.

В тот же день, незадолго до того, как солнце начало склоняться, он нашел свежие следы, по которым и пошел.

Какой шум! Не могло быть никаких сомнений. Они были там! Тесной толпой они ломали ветви, издавая громкие крики. Слышалось непрерывное чавканье пережевываемой ими пищи. Они залезли в грязь и обливали друг друга водой. Они бежали от солнца под сень леса и остановились у болота.

Белый, следом за которым шел его разведчик, пополз к ним — медленно, медленно. Наконец, он увидел одного слона. Прислонившись к дереву, животное смотрело в его сторону, без сомнения, учуяв его.

Какая великолепная пара огромных клыков! Он прицелился и... В ту же секунду раненый м'бала бросился на него.

В такие мгновения жизнь мчится быстро. Страх не убивает тебя сразу, и ты чувствуешь его только после, если на это остается время.

Белый отпрыгнул в сторону, чтобы уклониться от громадного животного, уклонился, отбежал, снова приложился из своего ружья, нажал на спуск... Тик! Осечка!

Что делать? Его разведчик? Он исчез, убежал, унес с собой запасное ружье. Бежать? Невозможно. Оставалось только ждать смерти. И эта смерть подходила. Она была там, в этих маленьких живых глазах, в этом загнутом, грозно поднятом хоботе, в этих ушах, развернутых, как листья, в этом пронзительном крике. Она была там. Она...

Что произошло потом? В точности этого никогда не узнают, потому что никого при этом не было.

Но все в один голос говорят, что м'бала подбросил бедного белого охотника на воздух, а сам издох на расстоянии нескольких полетов сагая от своей жертвы, которая безжизненно лежала на земле с распоротым ударом клыка животом.

Когда он пришел в себя, мой Кокелен, он все еще одиноко лежал в лесу и почувствовал себя таким слабым — ах! — таким слабым...

Он пополз на руках и ногах до реки, где промыл свою ужасную рану.

Его внутренности вылезли наружу. Он вложил их назад в живот. Потом, так как наступала ночь, он написал на бумаге значки.

Позднее мы узнали от белых, которые там жили, что они означали:

«Я никогда не увижу Кемо».

Он ошибался. Он увидал снова Кемо, куда его быстро перевезли. Он не имел вида сильно страдавшего человека. Но

лицо его было очень бледно, а тело горело. Поздри у него были сжаты, губы стиснуты и покрыты кровью.

Но у него не было вида сильно страдавшего человека. Он не жаловался.

Его положили, как можно скорее, на сложенные на дне пирога тюфяки и повезли в Банги, проехав ночью опасные пороги Баку'нду. Это удалось, потому что было время самого высокого стояния воды.

Докторро в Банги тщетно пускали в ход, чтобы вылечить его, все свое колдовство.

Ничего уже нельзя было сделать. До'ндорро уже поразил гнилью его живот.

Тогда этот белый охотник стал кричать. Он кричал. Его вздувшийся живот походил на мешок, набитый провизией. Все ночи около него дежурил «Мой Отец», читая заклинания, которые заговаривают от несчастья.

Но все было напрасно. Коликонтбо наложил на него свою руку.

Он умер через неделю после своего приезда в Банги...

Солнце пылало посредине неба. Со всех сторон металлические дрозды возвещали об этом событии. И, прилетев с бесцветного горизонта, пронесли три обычных сильных порыва ветра, которые ежедневно, в один и тот же час, уносят с собой, как в отдушину, сор, сухие листья и пыль.

Этот ветер принесся оттуда, где встает солнце, и замер там, где оно ложится. И теперь он возвращался оттуда назад в виде легкого ветерка.

И вот, справа и слева, зазвучали из долин, с высот и из болот, трубы, рога и там-тамы. И внезапно раздался дикий крик:

«Яха!»

Сигнал! Сигнал! Охота началась!

Около реки Дангуи поднимался дым.

Дым ли?

Да, да! Тонкая, вначале, почти незаметная черноватая струя его выделялась все резче и сильнее и распустилась в небе.

Можно было бить наконечниками сагаев по лезвиям метательных ножей.

«Яха!»

XI

Яха! Сигнал! Вот и сигнал! Огонь продвигается, все растущий и жестокий огонь, который греет или жжет, выгоняет дичь, уничтожает змей, пугает хищников, сбивает спесь с трав и деревьев, огонь, который расчищает почву для будущих посевов и, проходя по ней, улучшает ее.

Ах! Кто может воспеть огонь? Кто восславит его, как должно, словами щедрыми и пылкими? Кто восславит это превращение солнца в очаги, иногда одинокие, но чаще бесчисленные, которые светят ночью и днем, не боясь дождя, не смотря на ветер.

Надо воспеть его подвижной свет, его многоликий образ, его растущий зной, нежный, всепроникающий, невыносимый и тайный.

Слава огню!

Смыкает ли ваши глаза сеятель пыли,—огонь устраивается около спящего, мурлычет возле него, нежно окружает его сетями своего тепла и уносит, освобожденного от всего, приятной и тихой сонной смертью, в страну грез, откуда возвращаются с каждой зарею.

Бьет ли вас лихорадка, дрожите ли вы от холода,—огонь поддерживает бег крови, текущей по синим нитям ваших рук.

Это он вызывает у вас испарину! Это его сияющая ласка растирает ваши окоченевшие члены! Она так нежна, что ее можно принять за благотворное масло.

И вот, мало-по-малу, мышцы смягчаются, мышцы свободно движутся. Лихорадка и усталость исчезают. Вы не ощущаете больше холода. Пусть идет снаружи дождь! Огонь все время здесь; своим дымом он отгоняет злуюжающих москитов, своим сиянием рассеивает сырость.

Вы одиноки и вам грустно? Вам нужно общество? Не ходите далеко. Он — хороший товарищ, друг, уанджа, наперсник. Подобно тому, как он согревает члены, он согревает и печень; он склоняет к признаниям, вызывает их.

Около него и благодаря ему всегда можно хорошо напиться теплом, и, как всякая хорошая еда, он успокаивает, умиротворяет и приводит в восторг. Все в нем вызывает доверие. Все в нем, вплоть до его сухого потрескивания, вызывает на признания.

Так кто же восславит огонь так, как это должно? Кто споет о нем дивную красную песню? Песню о том, как, превратившись в пожар, широкий, внезапный, громадный и многообразный, он бросает беспорядочно на заросли и каги неисчислимые толпы искр; песню о том, как он шумит и гудит, сокрушая с тяжелым грохотом валящиеся на землю деревья?

Кто споет песню об огне в зарослях? Он здесь и там, и вот там, и еще там, и еще дальше. Он не стоит на месте. В одно мгновение пожирает он целые пустоши. Он скачет прыжками по траве. Он приближается. У кого есть терпение, тот скоро увидит его. Еще немного, совсем немного, и услышится его гневное ворчание, которое уже звучит там, повсюду, где поднимается этот дым!

Но... но... Куда же он поворачивает? Не направляется ли он к реке Понгу и к деревне Сумане?

Хэ! Пупу! Ветер, друг мой! Пупу, мой уанджа, прошу тебя, отклони огонь на деревню Гаоду! Да будет к нам милостив Н'Гакура. А не то...

Ах, вот он возвращается! Все—к лучшему! Вот он возвращается, огонь, и дым растет. Воздух пропитан запахом ароматических трав. В последний раз наточим сагаи и ножи! Пора!

Там-там ли'нгх! Что он говорит?

Дикие быки... напуганные огнем... скачут... к деревне Нибани... Что еще?... В этой деревне... есть гасильщики... и зажигатели огня... Последние... не замедлят зажечь... ту часть зарослей... которая им поручена...

Яха! яха! Разговор ли'нгх—хороший разговор. Яха! От деревни Нибани поднимаются столбы дыма,—черные!

Сколько стервятников!.. Какой дым со всех сторон!.. Уже не видно неба. Его застлали стервятники и дым. Они застлали и солнце. Ничего не видно, кроме дыма и стервятников. Обилие стервятников доказывает обилие дичи. Вот! Трое из них, все вместе, устремляются прямо к земле. Что они такое уносят? Да здравствует охота!..

Все эти крики и восклицания сливались в один неописуемый шумный поток.

Приток людей все возрастал. Сутолока и толкотня увеличивались. Там были собранные из всех деревень м'бисов мужчины. Военачальники Батуалы, Порро и Уорро, шутили со своим мокунджи. Были также три вождя н'гапу: Якиджи, по прозвищу Камбассер, Нибани и Иерету'ягу.

Что касается Биссибинги, то он развлекался, забавляясь с сумасшедшим Коссейэнде.

Бедный Коссейэнде! Как ухитрился он дотащиться до реки Гобо?

Он уже с трудом держался на ногах, опираясь на палку.

Бедный Коссейэнде! Кобохоло, сонная болезнь, так истощила его, что у него был вид живого скелета. На его худой шее, с разбухшими узлами вен, качалась большая костлявая голова. Болезнь эта, от которой порыжели его волосы, заставляла сверкать его глаза в их глубоких впадинах. Он дрожал всем телом, уже охваченный холодом смерти.

И все-таки, когда, уперев руки в бедра, Коссейэнде попытался танцевать, и колени его стали шелкать одно о другое, неудержимый смех пронесся, как порыв ветра.

Тогда он внезапно остановился и вытащил из своего мешка двух ежей, величиною с кулак.

Вокруг обоих то'ндоротто образовался круг.

Маленькие животные свернулись в клубок. Присутствовавшие м'бисы и н'гану стали тихонько бить своими сагаями наконечник о наконечник, лезвие о лезвие, пока эти животные не принялись тихо танцевать, отбивая мордочками такт, под размеренный звон металла.

То'ндоротто, то'ндоротто,
Удо, ддо,
То'ндоротто!

— Динь... динь... клям... клям...—звенели клинки.—
Клям... клям... динь... динь...

Ежик, ежик,
Танцуй, танцуй,
Ежик!

Между тем, гонимые ветром, огонь зарослей и дым приближались к реке Гобо.

Но Коссейэнде не обращал на это внимания. Коссейэнде смеялся, разинув рот. Он смеялся до слез.

А! Бунджу могут знать все, что угодно, но они не знают, что то'ндоротто чувствительны к музыке и танцуют, по-своему, так же естественно, как плавают брошенная в воду собака.

То'ндоротто, то'ндоротто,
Ддо, ддо,
То'ндоротто!

Клям... клям... динь... динь...

От смеха кости Коссейэнде выступали на его боках с такой силой, что грозили прорвать кожу. Он смеялся, смеялся, смеялся. Смех сменился икотой. И вдруг он повалился на землю навзничь, с закатившимися глазами и пеною на губах.

То'ндоротто, то'ндоротто...

Вставайте все! Поднимайтесь! Тяжелое дыхание огня вздувается, становится более горячим, жжет. Его дым душит. Уф!

Хорошо ли скрыты под ветками ямы для быков? Да. Все готово. По местам, лучшие стрелки! Вам остается только ждать, напрягая глаза из-под нахмуренных бровей и сжимая в руке сагаи.

Сверканье, треск, шелканье, взрывы, крики... Потом—пепел, остатки сожженной травы и листьев, рои пчел, стаи маленьких птиц и тысячи насекомых: жуки, бабочки, кузнечики, мухи, кобылки. И потом—опять пепел, пепел!

Ветер ускоряет быстрый бег огня. Показывается пламя. Его длинные широкие языки лижут сухую и жесткую траву, которая трещит.

Крик: «Циветты!» Потом опять крики: «Автилопы! Дикие свиньи! Уала!»

Какой праздник! Какая радость! Джук! Флаш! Два, три, пять сагаев пронизывают одно и то же животное! Кровь дымится! Ах, прекрасный запах крови! Как он возбуждает! И как он опьяняет!

Антилопы! циветты! Убьем всех этих свиней с длинными, твердыми клыками, которые свертываются в шары, как то'ндоротто.

Кровь! повсюду кровь! Охота—красный, дикий танец. Ба! Еще одна уала!

— Вни... внимание!.. Муру!.. Спасайся!.. Скорее на это дерево... в эту чашу!.. Спеш!.. Где найти защиту?.. Муру!.. Муру!.. Спасайся!

У Биссибинги не было больше времени слушать или раздумывать. Лай собак, крики их хозяев, вспышки огня, страшный жар, опьяняющий вид крови и порывистые движения, которым он только что предавался со своими товарищами,— все это море звуков, жестов и света ошеломили его.

И вдруг, в этот миг, над ним прожужжал тяжелый сагай. Кто его бросил?

Батуала.

В одно мгновение ока Биссибинги бросился ничком в сторону, чтобы уклониться от прыгнувшей на него пантеры.

Когда, весь дрожа, он встал, хищник уже исчез с гневным ревом.

Но там, напротив, окруженный толпою м'бисов и н'гапу, хрипел мокунджи Батуала.

Рассерженная сагаем, который она увидела, но который предназначался, однако, не для нее, пантера на ходу расползла ему живот ударом лапы.

XII

Батуала тихо хрипел.

В течение пятнадцати снов был он в таком состоянии. С утра до вечера, с вечера до утра, вытянувшись на своем богбо, он без конца кричал или стонал.

Лихорадка безостановочно грызла его кости, рвала его виски, жгла его тело и заставляла его, время от времени, просить:

— Пить!.. Пить!..

Проглотив питье, он тотчас же изрыгал все, что выпил, и, задыхаясь от боли, падал снова на свое богбо.

Но в этот день не было ни рвоты, ни лихорадки. Батуала больше не кричал. Он обливался холодным потом. С трудом двигался. Вместо того, чтобы жаловаться и охать, он говорил, говорил и говорил, останавливаясь только тогда, когда царапающий хрип начинал раздирать ему горло.

Еще несколько минут, быть может, ночь, самое большое ночь и день, — и великий мокунджи Батуала станет только странником.

Сомкнув навсегда глаза, он отправится в ту черную джунгли, откуда нет пути назад. Там он опять увидит своего «баба» и всех живших до него предков.

Там он не увидит больше ни Помбо, ни Бамбу. Там нет больше знакомых долин и высот. Там не придется больше

презирать белых. Не придется им повиноваться. Нельзя будет вести споры с тем или другим о женщинах. Песни и танцы длятся не вечно. После сухого времени года наступает время дождей. Человек живет только мгновение. Вот оно, доказательство этой истины, осязаемое доказательство. Потому что так было с Батуалой. Потому что скоро он умрет. Потому что, на склоне дня, спокойный бред, явившийся на смену сильному возбуждению, означал агонию, да, агонию, «леа-леа».

Бедный Батуала!

А между тем, за ним хорошо ухаживали! Но не тотчас же после несчастья.

Конечно, раненый, которого зовут Батуала, всегда интересен.

Несомненно!

Но разве можно из-за какого бы то ни было раненого пропускать стадо мычащих гогуа, когда оно находится на расстоянии удара сагаем.

Конечно, нет!

Вот почему, завернув Батуалу в одеяло, его оставили в тени дерева под присмотром его собаки Джумы и бросились к диким быкам.

Немного позднее занялись и им.

Н'Такура! Какая скука тащиться к Памбе, вместо того, чтобы обжираться вместе с товарищами!

Батуалу уложили на носилки. Четверо мужчин открывали шествие, неся в руках факелы, разрывавшие тьму своим дымным светом. За ними следовали носилки, их несли четыре м'биса, а за ними—опять четыре человека с факелами в руках.

Биссибинги и Джума замыкали шествие.

Какое медленное! Какое тяжелое! Какое молчаливое! Какое медленное, тяжелое и молчаливое шествие!

Ночные запахи, светляки, шум крыльев, роса, тихо угасавшие огни, справа и слева, — все это видели и слышали несшие Батуала люди.

И какая тишина!

Пройдя некоторое расстояние, группа несших факелы сменяла тех, которые несли носилки.

Все молчали. Надо было идти не слишком скоро и не слишком медленно. Нельзя было спотыкаться, нельзя было делать резкие движения. Малейший толчок, и Батуала рычал, как вунгба, которого резали. Если Н'Такура ничего не слышал, то значит его глухота неизлечима.

Они прошли вдоль Губаджи, перебрались через гряду холмов, венчающую Байду, взобрались по склону каги Баги, таящей в своих недрах прозрачные фиолетовые камни, которые буджу считают драгоценными. Они дошли до деревень племени Дебалэ, где протекают свежие воды Кавалы.

Остановка. Пора поесть и попить. И снова в путь!

Река: Буатапа. Дальше, по направлению к Гримари, направо, — еще река: Яко'мба. Потом, сейчас же, — Яко и его приток Тале'мбе. Последнее большое болото: Патакала.

Потом пошли поля, засеянные просом, кукурузой, кунжут, бобами, земляными орехами, го'мбо, пататами...

Стой! Они пришли к хижине мокунджи.

Ты дома, Батуала...

У белых есть свои докторро, у негров — свои колдуны. Будьте уверены, что они похожи друг на друга и стоят один другого.

Есть хорошие докторро и плохие колдуны. Есть хорошие колдуны и плохие докторро.

Но, как бы там ни было, прежде всего надо исполнять приказы колдуна.

Поэтому перед хижиной Батуалы, следуя указаниям колдуна, разложили, в виде маленькой загородки с отверстиями, чудодейственные амулеты, ароматические ладанки, талисманы от дурного глаза, бубенчики и звоночки, которые устрашают злых духов и отгоняют их.

Но так как, несмотря на эти меры, злые духи не уходили, то вопленицы и игроки на го'нго пришли охранять Батуалу.

Увы! Напрасно его хижина стонала от ужасных криков и грома там-тамов. Болезнь и не думала уходить. Злой гений мучил исхудавшее тело мокунджи. Уже не стоило труда сильно стягивать ему живот веревкой. Несмотря на границу, которую ему поставили, до'ндорро Батуалы все же перешел через нее.

И кроме того, со дня на день живет раненого все больше загнивал. Толстые мухи-трупоеды — синие, зеленые и черные вумы — копошились на распухшей, гноившейся ране, широко для них открытой.

Ничто не могло победить чар до'ндорро: ни промывания холодной и теплой водой, ни заклинания, ни прикладывание некоторых заживляющих трав, вымоченных в слюне, ни припарки из коровьего навоза, ни прижигания каленым железом.

Даже Джума, которой стала противна вонь от раны хозина, не лизала ее больше.

Она выполнила все свои собачьи обязанности. Что могла бы она еще сделать, когда ничего уже сделать было нельзя?

Отчаявшись, пошли, наконец, посоветоваться с белым начальником.

Комендант выказал большую любезность. На просьбу посоветовать — он ответил веселым тоном, что Батуала может себе спокойно издыхать вместе со всеми его м'бисами.

Тогда отказались от заговоров, заклинаний и амулетов. Отказались от ароматических ладанок, от лекарств колдуна,

от обычных талисманов. Игроки на го'нго исчезли! Вовленицы ушли! Пусть Батуала умирает. Уже начали грабить его имущество.

Ты должен быть счастлив, Батуала! Твоя агония не бесполезна. Она возвращает память многим людям и напоминает им, что ты им должен много вещей, о чем ты сам уже забыл.

И они разделили между собой просо из твоих амбаров, угнали твой скот, украли твое оружие. Правда, у тебя еще не отняли твоих жен. Но успокойся. Судьба их известна. Они давно уже распределены!..

Тихо хрипел Батуала.

О чем он грезил? Да и грезил ли он, вообще? Знал ли он, что в этот вечер около него в хижине не было почти никого?

Он бредил, он хрипел и не мог знать, что, за исключением Джумы, Биссибинги и Яссигинджи, все его покинули, даже его военачальники, даже его близкие, даже его жены и дети, которых он имел от них.

Ведь, он не знал, что Биссибинги и Яссигинджа были здесь, в его хижине, и что их разделял только огонь, уже не согревавший его, Батуалу. Он не знал, что Джума, маленькая рыжая собака, храпела, свернувшись в комок, на корзинах для каучука,—вон там. Он не слышал даже, как Биссибинги порывисто привлек к себе Яссигинджу, не слышал, как, вытянув с любопытством шеи по направлению к этому непривычному для них шуму, заблеяли козы, и как утки закричали свое пша-пша-пша, пша-пша-пша.

Батуала бредил.

Еще раз он повторил в бреду все, в чем мог упрекнуть белых; он напомнил им их ложь, жестокость, непоследовательность, притворство.

Нет ни банда, ни манджиев, ни белых, ни негров. Есть только люди, и все люди—братья.

Не надо грабить своего ближнего, не надо его убивать. Война и дикость—одно и то же. А негров заставляли принимать участие в дикости белых и умирать из-за их далеких распрей. А тем, кто протестовал, набрасывали веревку на шею, сажали в колодки, бросали в тюрьму.

Вперед, грязный негр! Иди и издыхай!..

Долгое молчание.

Джума подошла и обнюхала своего хозяина.

Что почувствовала Джума? Кто сказал ей, что развязка приближается. Быть может, она хотела услышать поближе голос того, о ком она сожалела в своей темной для нас душе. Не задрожал ли в ней вековой инстинкт, заставляющий животных прекращать на время все ссоры, когда одно из них готовится умереть? Никто не знает этого. Мгновенье спустя, с унылым видом, собака присела, вытянув голову на передние лапы, спиною к огню.

Ясигинджа и Биссибинги посмотрели на Батуалу, кивнув друг другу головой.

— «Кузу»?—спросила она.—Он умер?

— Нет. Еще нет,—ответил он.

И они улыбнулись.

Они поняли друг друга. Когда они станут хозяевами своей судьбы, ничто больше и никто больше не сможет помешать им принадлежать друг другу.

Батуала икал, сжимая ноздри.

Наслаждение жизнью—самый чудесный миг. Биссибинги подошел к Ясигиндже, поцеловал ее и, опрокинув податливое его объятиям тело, овладел им страстно и глубоко...

Напрасно, Батуала, ты все еще не хочешь умереть! Ты видишь, что существуют только они! Они тебя вычеркнули! Тебя для них больше нет.

Но почему прекратилась твоя икота?

А! Твои глаза открываются, твои глаза открыты и, откинув свои одеяла, ты встаешь, ужасный в своей худобе.

Ты идешь вперед, шатаясь и вытянув руки, как ребенок, который учится ходить.

Куда ты идешь? К Биссибинги и Яссигиндже? Ты хочешь ревновать до последнего вздоха? Разве не можешь ты оставить их в покое, Батуала, ибо ты сейчас умрешь?

Ведь, они уже не помнят сами, где они! Они не видят тебя больше или, скорее, они еще не видят тебя. Они не...

Так вот, что ты сделал! Ты счастлив теперь, не правда ли? Счастлив тем, что, отскочив друг от друга, они прижались к стене? Их тела дрожат, их зубы стучат от ужаса!

А ты, ха! Н'Такура! Обессиленный сделанным напряжением, убив самого себя, ты разом упал на землю, как падает большое дерево...

На этот шум кричат утки, кудахчут куры, и козы бегут в разные стороны. Джума, по привычке, ворчит, не открывая глаз. А термиты долго-долго наполняют свои галереи из черной земли неумолчным трением. Но Яссигинджа и Биссибинги уже бежали в ночную тьму.

Мало-по-малу шум утихает. Сон овладевает животными. Только тишина сторожит тебя, Батуала, да одиночество. Над тобою—великая ночь.

Спи!

Спи...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие <i>Р. Марана</i>	9— 15
Батуала	1 124

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Вышли в свет и продаются в книжном магазине
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ (Литейный, 56)
и в других книжных магазинах:

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| <i>И. Гердер</i> | — Сид. |
| <i>Т. Гюффман</i> | — Музыкальные новеллы. |
| <i>Уот Уитмэн</i> | — Листья травы. |
| <i>К. Лемонье</i> | — Завод. |
| <i>Ляо-Чжай</i> | — Лисьи чары. |
| <i>Гольдони</i> | — Комедии, т. I. |
| <i>Р. Роллан</i> | — Театр Революции. |
| <i>Гейне</i> | — Путевые картины, т. VI. |
| <i>Новалис</i> | — Гейнрих фон Офтердинген. |
| <i>Гете</i> | — Фауст, т. I. |
| | — Вертер. |
| <i>А. Франс</i> | — Рассказы. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| <i>Ф. Шиллер</i> | — Вильгельм Телль. |
| <i>Иенсен</i> | — Ледник. |
| <i>Барри</i> | — Белая птичка. |
| <i>Д. Лондон</i> | — Любовь к жизни. |
| <i>М. Твэн</i> | — Принц и нищий. |
| <i>Гейрманс</i> | — Город брильянтов. |
| <i>Федерер</i> | — Прометей. |
| <i>К. Мейер</i> | — Святой. |
| <i>Р. Хаггард</i> | — Копи царя Соломона. |
| <i>В. Скотт</i> | — Черный карлик. |
| <i>Ч. Диккенс</i> | — Колокола. |

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ПЕЧАТАЮТСЯ И ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

<i>Гете</i>	— Фауст, т. II.
<i>В. Гюго</i>	— 93-й год.
<i>Байрон</i>	— Драмы.
<i>Верхарн</i>	— Поэмы.
<i>Б. Шо</i>	— Пьесы.
<i>Э. Золя</i>	— Западня.
<i>Усама</i>	— Книга назиданий.
<i>Лемонье</i>	— Рог призыва.
<i>Гольдони</i>	— Комедии, т. II.
<i>Р. Роллан</i>	— Трагедия веры.
<i>Эса де Кейрош</i>	— Реликвия.
<i>Приуляно</i>	— Исторические повести,

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЫШЛИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

<i>Г. Верфель</i>	— Человек из зеркала.
<i>Ж. Ромэн</i>	— Доногоо-Тонка.
<i>П. Бенуа</i>	— Атлантида.
<i>Г. Уэллс</i>	— Неугасимый огонь.
<i>Синклер</i>	— Сто процентов.
<i>Гольст</i>	— Лирические драмы.
<i>Р. Роллан</i>	— Кола Бреньон.
<i>К. Гамсун</i>	— Соки земли.

ПЕЧАТАЮТСЯ И ВСКОРЕ ПОСТУПАТ В ПРОДАЖУ:

<i>Михаэлис</i>	— Месть.
<i>Бржозовский</i>	— Зарево.
<i>Мейринк</i>	— Голем.
<i>Эдмунд</i>	— Шесть притоков.

Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Вышли из печати и поступили в продажу издаваемые
„ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“

№ 1-й иллюстрированного журнала

„ВОСТОК“,

ПОД РЕД. АКАД. **С. Ф. Ольденбурга**, АКАД. **И. Ю. Крачковского**, ПРОФ. **В. М. Алексеева**, ПРОФ. **Б. Я. Владимирцова** и **А. Н. Тихонова**.

В журнале — художественно-литературный, научный и критико-библиографический отделы, а также хроника жизни Востока и художественные репродукции с памятников восточного искусства.

№ 1-й журнала

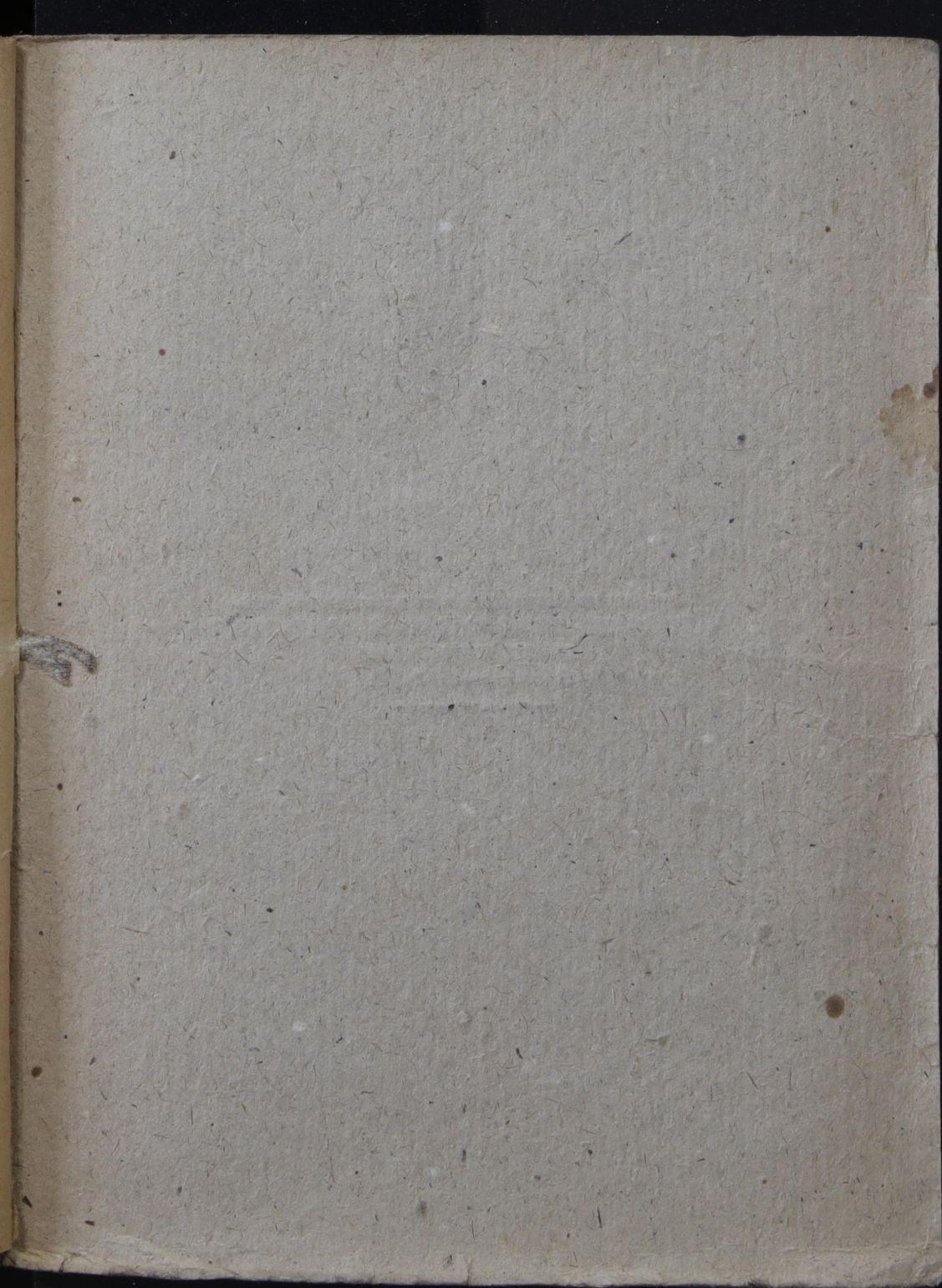
„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“,

ПОД РЕДАКЦИЕЙ **Евг. Замятина**, **А. Н. Тихонова** и **Н. И. Чуковского**.

В журнале — переводы стихов и художественной прозы наиболее выдающихся из современных европейских писателей, обзор художественной жизни Европы, отчеты о новейших достижениях западной науки.

В первом номере журнала, между прочим, напечатаны: *Шпенглер* — „Пруссизм и социализм“, роман *О. Генри* — „Короли и капуста“, рассказы *Дюамеля*, *Мейринка*; стихи: *Киплинга*, *Газенклевера*, *Клоделя*; статьи: *В. Базарова*, *А. Лурье*, *Маринетти*, *А. Ренье*, *Н. Радлова*, *А. Эфроса*, *Н. Эфроса*, *П. Ерчиковского* и др.

РЕДАКЦИЯ И КОНТОРА: ПЕТРОГРАД, МОХОВАЯ, 36.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №36
